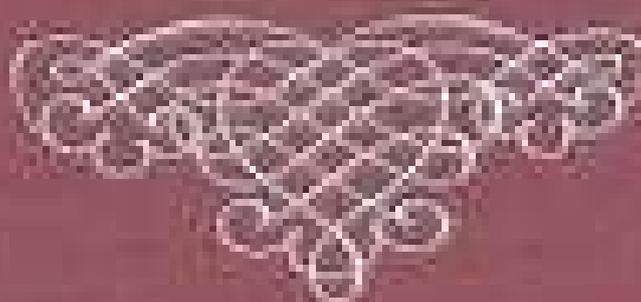


А. И.
ЛЕВИТОВ

Сочинения



Александр Иванович Левитов

Московские «комнаты снебилью»[1]

I

Вступление

Растрепанно и сумрачно как-то высматривают на божий свет дома, в которых есть эти так называемые комнаты снебилью. Лучшие дни молодых годов моих безвозвратно прожиты мною в этих тайных вертепах, где приючается, как может, пугливая бедность.

Бесконечно длинною вереницей возникают в голове моей воспоминания о разных решительно неестественных столкновениях с совершенно невероятными характерами, когда я случайно увижу на воротах какого-нибудь высокого дома билет с уродливой надписью: «Сдесь одаюца комнаты снебилью».

Каким-то странно-болезненным чувством прохватывается все существо мое, когда я увижу, как бьется и трепещет на ветре лоскут серой, грязной бумаги, нелепо примазанный к воротному столбу мякишем черного хлеба, потому что перед глазами моими вытягивается тогда несчастная шеренга бездомных людей, которые самую судьбою, кажется, осуждены на вечное скитание по этим комнатам снебилью, рекомендуемым серым лоскутом.

И при виде бедных людей этих – сотоварищей печального пути моего по бурному, если не смешно так выразиться, морю житейскому, живее чувствуется мне мое прошлое горе, глубже западают в душу настоящие невзгоды и нужды, потому что грустно размышляю я в это время о бесконечном ряде справедливых жизненных драм, обыкновенно разыгрывающихся в этих комнатах на страшную тему о погибели молодой энергичной жизни, разбитой нуждою железною.

– Брат мой! – слышится мне мягкий голос редко когда уже вспоминаемого юноши, с которым, в пылу молодых мечтаний о великом и добром труде жизненном, побратались мы на жизнь и на смерть, – и в этой радости, чтобы был ты при смерти моей, мне отказал бог!

Страшной, томительною мукой наполняют душу мою слова эти, потому что, на великое несчастье мое, так ясно, так осязательно представляется мне в это время прекрасная жизнь в тяжелой борьбе с мучительной смертью, – и не могу я тогда дать себе отчета в том, для чего существовала эта жизнь, зачем она, жаждавшая счастья и деятельности, так долго и так тяжело страдала и, наконец, зачем она, не выдержавши этих страданий, так видимо незаконно умирает теперь в глазах моих, не примиренная с грубостью жизни ни одним словом утешения, ни малейшим признаком участия людского?..

И другой образ, грациозный и светлый, восстает предо мной. Как и в прежнее счастливое время, беспечальный и наивный, шутливо лепечет он мне о вечной разлуке с дорогим человеком.

– Ах, сосед! – говорит мне милый голос. – Как он умирал страшно, сказать не могу. Ведь, знаете вы, какой он всегда смирный был да веселый; а тут... ах! вспомнить ужасно: зеленый-зеленый весь сделался, ровно трава вешняя, и как же бранился он страшно, зубами

как скрежетал!.. Одна я только усмирять его немного могла. Положу, бывало, руку к нему на лоб и смотрю на него, – он как будто и покойнее станет. Вижу я так-то, что уж немного ему жить остается, и говорю: «Ты бы, говорю, родным что-нибудь написал». – «Да, точно! говорит, написать нужно. Напиши, говорит, ты повестку такую общую и родным и знакомым моим, что, дескать, родственник ваш или приятель такой-то (знаешь, говорит, как на бал приглашают), умирая, изъявляет свое крайнее сожаление, что не может он вам на прощанье всем в глаза плюнуть!..

Покорнейше проси их извинить меня на этот раз: сил, скажи, не было...» Долго он тут смеялся, отвернувшись и от меня к стене; с тем и умер. А за ним и меня отнесли. Не могла я жить без него – тоска страшная очень мне грудь надсадила. Вот и платье, в котором меня схоронили. Прелесть, что за платье такое! Белое-белое как «кипень», – с улыбкой лепечет девушка, употребляя слово своей далекой родины. – Жаль, не было вас: голову мне в это время убрали цветами, и подушку, и гроб – все завалили цветами (недороги цветы были тогда, – весной я умирала), и несли меня все наши девушки. Вы их всех знаете: те, с которыми я на одном месте работала, – они все при вас бывали у меня. Ах, помните вы, как нам весело было! Хозяйка-то нас распугивала как, помните? «Деньги, говорит, подавайте: первое число подошло». Не могу без смеха вспомнить этой хозяйки; совсем у ней «мужчинская» борода была и голос толстый такой. Я всегда думала, что она меня съест, когда, бывало, не достанешь ей денег к первому числу. Ну, прощай, сосед! Я улечу сейчас: я летаю ныне – вот посмотрите!

И действительно, словно белый голубь, то взвивалась она в далекое поднебесье, то снова спускалась ко мне, порхая перед глазами моими какою-то невиданною птицей и чаруя меня своей милой улыбкой, с которою она показывала мне недавно приобретенное умение летать.

– Што те, комлу, што ль, надуть? – рычит недавно приехавший из самого степного села дворник, злой от вчерашнего похмелья, суровый и всклокоченный по природе. – В четверто крыльцо на третий этаж по коридору ступай, там те комла и будет.

Испугался милый призрак сурового голоса и улетел на небо, а мрачный дом по-прежнему мрачно и неустанно смотрит на улицу своими бесчисленными окнами, сторожит, должно быть, чтобы не вылетели несчастные птицы, заживо погребенные в его душных клетках; и грязный билет тоже по-прежнему бьется и трепещет на ветре своими двумя отклеившимися углами, останавливая на себе внимание проходящих.

– Ты там Татьяну-съемщицу спроси, – продолжает дворник, – так, то есть, Татьяну и спрашивай: где, мол, тутотка Татьяна живет? А как, примером, Татьяна тебе скажется, ты и скажи ей: где, мол, у тебя комла тут порожняя есть? Дворник, мол, к тебе спосылал меня.

Обыкновенно я не пользуюсь в это время указаниями дворника. Я иду дальше от него и от дома, потому что оба они тогда кажутся мне в одинаковой степени деревянными.

– Ишь ты, попёр как! – рычит дворник. – Беспременно сдуть что-нибудь норовил. Што это за шельма народ в Москве, братцы мои! Так, то есть, и норовит к тебе с сапогами совсем в рот залезть!..

II

Съемщицы

Самый рельефный и красивый орнамент комнат снебилью – это Татьяны, съемщицы комнат,

главные жизненные цели которых по преимуществу заключаются в том, чтобы вынудить себе от своих жильцов и от приходящих к ним гостей почетный титул мадамы, – и Лукерьи – лица, неизбежно кухарствующие в комнатах. Эти два божка обладают почти одинаковою силой, дающей им все возможности или разбивать наказательным громом и сожигающею молнией те несчастные существа, которые отдались их команде, или обливать их горемычные головы до бесконечной пошлости надоедающим дождем своих безобразных благодеяний, судя по тому, насколько несчастные существа, командуемые ими, наделены благодетельной природой способностями приобретать себе благорасположение или обратное чувство со стороны Татьяны и Лукерьи.

Оба эти в высокой степени интересные субъекты одинаково подарены Москве и вообще всем большим городам тульскими, коломенскими и большею частью ярославскими подгородными слободами. Так, молодой ли солдатке придется невтерпех от нападков мужниной семьи, или когда так называемая ухарь-баба наскучит носить красные платки от своих деревенских ребят, – сейчас же они ранним утром соберут свои пожитки в один большой холстинный мешок, взвалив его на крепкие плечи, и, много не разговаривая, отправляются в столицу искать между новыми людьми новых работ и счастья.

При начале своей карьеры, начинающейся обыкновенно с кухарки у какого-нибудь купца третьей руки, баба неизбежно дуреет при виде этой всегдашней суетни столичной жизни, которая даже и в самых тихих своих омутах всегда слишком резко бросается в глаза, дотеле исключительно смотревшие на одни зеленые деревья и травы, так густо опушающие тихие деревенские улицы. Долгое время с крайне бесцельно, но вместе с тем напряженно выпученными глазами всматривается баба в непривычные жизненные явления той области, в которую занесла ее ее лошадиная судьба, и немало, по ее словам, «издивляется» этим явлениям. Долго она, как дубок, пересаженный с одной почвы на другую, гнется во все стороны, поставленная в необходимость болеть от той так жирно намащенной каши, которую купеческие дома имеют необузданность начинять свою прислугу. Напустившись с азартом голодного сельского человека на эту национальную сласть, поджаристость которой так ясно наложена обильными поливаниями хозяйского масла, баба тем «скуснее» слизывает с ложки горы лакомого снадобья, что за обедом вместо угрюмых, изработавшихся лиц своих семейских мужиков она видит разухабистых Захаров в красных рубахах, с блестящими серьгами в левых ушах, – веселых Захаров, непременно довольных и собою, и хозяйскою кашей, с глазами, лукаво прищуренными на новую стряпуху, с бойкой, вырывающей из компании волны хохота, поговоркой:

Лей, кубышка, поливай, кубышка!

Не жалея хозяйского добришка! —

выкрикивает удалой Захар, любезно знакомясь с новою соседкой посредством ошарашиванья ее в бок локтем.

– Что, – спрашивает он ее при этом знаменательном подталкивании, – приуныла? Аль бы нас, молодцов, невзлюбила? Аль хозяйское добро в рот нейдет? Свыкнется, слюбится, стерпится, – на веселье печаль наша сменится. Будем мы с тобой жить-поживать, добра наживать да в кабаке его на сладком винце пропивать. А ты молодецкую речь слушать-то слушай, а сама не зевай: видишь, каша-то вся уж!..

– Будет тебе, черт, шутки-то шутить! – говорят Захару соседи. – Напугаешь ты бабу-то ими. Видишь, не привыкла еще к нашим порядкам.

Осмотревшись, Татьяна действительно видит, что каша уже вся в самом деле, но ее нисколько не печалит это обстоятельство. Ее до того ошеломили жирные щи и жирнейшая солонина, с слабым подобием которой она во все продолжение своей сельской жизни знакомилась только по рождествам да по святым, что Татьяна едва настолько может работать своей победною головой, чтобы хоть немного удивиться складным разговорам шутивого соседа. Неудержно клонит ее к сладкому сну в первый раз попробованная купецкая трапеза, – лупит баба свои большие серые глаза, стараясь не показаться соней, лупит и ничего не видит, прислушивается ко всему самым внимательным манером и ничего не слышит.

– Что ты, словно идол какой, из стороны в сторону мечешься, а настоящего дела не делаешь, дура ты эдакая деревенская, неповитая! – кричит на нее грозный хозяйский голос. – Ну, куда тебя черти несут? Я тебе велел самовар ставить, а тебя шуты-то на погребницу поволокли.

– О господи! – потихоньку творит молитву сельская дура в своем сонном бодрствовании. – Ничего-то я, грешная, не слышу. Вот они враги-то где сильные! Не то что по селам...

Наконец оставшийся от хозяев чай прогоняет сон кухарки вместе с ее тревожными мыслями. Только в окне неустанно жужжащие мухи чуть-чуть заметно нарушают ту несмущаемую тишину, которая обыкновенно царствует по купеческим кухням в послеобеденное время. Захары все до одного человека разошлись, как они говорят, по своим обязанностям, а хозяйское семейство непробудно спит в прохладных хоромах.

«Ничего в городе жизнь-то!» – думает про себя Татьяна, свободно припоминая в этой тишине, что если первый день ее службы принес ей некоторое огорчение, зато он принес ей и наслаждения, которых она никогда не испытывала в своей убогой сельской жизни.

Вертит баба перед жадными глазами кусок сахару и, любуясь им, с великим удовольствием прощает городскому дню искушения и нападки, которыми на первый раз он так смутил простую сельскую душу.

«Запужалась я давеча некстати с непривычки-то! – развивает Татьяна свою безмолвную думу. – В этом раю не жить, так где же и жить?» И после этого вопроса живо вспоминается ей и завтрак из пшенной каши, варенной на молоке, в котором плавало коровье масло за первый сорт, и жирный обед с ухарскими приговорками Захара, и настоящий чай. «Бывало, поглядишь только на сахар-то, как он, ровно ранний снег, белелся в руках у поповен да у дворовых, когда они чай пьют; а теперича на-кась! Воочию у меня сахар-то. Захочу – сейчас весь кусок сгрызу, а захочу – понемножечку сосать буду. Что это за сласть такую придумал народ! Толкуют по деревням: из немецкой земли его возят; там его, говорят, из собачьих костей делают. Ну да ничего. Пушай себе из собачьих – окромя как одной сласти, никаких в нем костей я не вижу. Полагать надо, врут все это, потому народ по деревням знамо какой – глупый народ!..»

Блаженствуя и посмеиваясь тихомолком, делала Татьяна этот первый шаг на поприще забвения своей прежней горемычной жизни, который обыкновенно так же не задумавшись делает всякий сельский человек, когда хоть чуть-чуть смекнет, что и на его до известного случая тощее тело напластываются наслоения жира, и когда почувствует, что и в далеком будущем ему предстоит полная возможность справлять праздники неуклонным жариванием жирных кулебяк и задиранием вверх носа, одуренно занюхивающегося в такие времена ароматом, который бьет от нового китайчатого кафтана на плечах счастливец и от его скрипучих, смазанных чистым смоленским дегтем, сапог...

И дальше идет Татьянина дума, в первый раз, может быть, не сдерживаемая ни семейским, ни своим убожеством:

«Коего шута, прости господи мою душу грешную, давно оттелева я не бежала? – спрашивала

баба с сильным ожесточением на свою недогадливость. – Есть тут кому побранить тебя, зато, по крайности, ты знаешь: не мужик тебя серый лаёт, а хозяин-купец уму-разуму учит. Душа, по крайности, за хлебом-солью у добрых людей отдохнет».

Таким образом, кусок сахара изгоняет из памяти неблагодарной Татьяны ее голодную сельскую родину. С неутраченным азартом в первый раз обласканного, хотя и без намерения, русского человека во весь остальной вечер отворачивает она тяжелую хозяйскую службу, стараясь отблагодарить за эту ласку.

После ужина хозяин спросил свою благоверную:

– Што, баба-то какова? Есть за что хлебом кормить?

– Баба, сказываю тебе, – золото! Воротит все до страсти: пыль столбом валит, как она тут девствовала, – ответила благоверная.

– Ну, этто чудесно! – благодушно говорит хозяин, засыпая.

Татьяна между тем за кухонного перегородкой свое толковала.

– Нароботалась я очинно, – говорит, – опять же и пища такая, словно в заговенье, так и валит! Господу богу-то завтра уж, видно, и за спанье и за вставанье поутру враз помолюсь...

III

Тот недолгий период времени, в который Татьяна переделывается из купеческой кухарки в съемщицу комнат снебилью, самый блаженный период во всей ее жизни, ибо в это время она простодушно и благодарно пользуется благами, предоставляемыми ей купеческим домом, по всегдашней пословице, полным как чаша. Не видав никогда ничего изящнее сооруженного на медвежий лад хозяйского дивана под красное дерево и гостиной, обитой красно-лапчатыми обоями, расписанной пузастыми амурами, рогами изобилия, лирами и тому подобными штуками, – Татьяна почитает живущих в этом доме не иначе, как за мощных своих повелителей, могущих с одного маха срубить ей голову и с одного маха же опять приставить ее к плечам. Слишком кислую и вяжущую оскомину набила Татьяне сельская редька с серым квасом, чтобы ей можно было без полного благоговения садиться за воскресный пшеничный пирог, от которого так приятно щекотливо ударяло в нос затомленную в жаркой печи говядиной с яйцами, с рисом, с маслом, с луком – этим приобретающим, вследствие печения, какую-то невероятно вкусную сладость лучком, который, в компании с мелко-намелко растолченным перцем, составляет окончательное украшение всякой кулебяки, назначаемой для праздничного лакомства верным купецким личардам.

Девичья свежесть хозяйской дочери, неизобразимо неуклюжая толщина водовозного мерина, молчаливая угрюмость самого и крикливо-безалаберная доброта самой – все это, так сказать, с самого дна Татьяниной души выволакивает искренние дани всякого сорта признательностей благодетельной судьбе за свое счастливое положение.

Веками и психологией освященная поговорка, что человек в сей жизни, даже находясь на самом вершине славы и величия, не может быть доволен своим положением, сделалась бы крайне несостоятельной в глазах философа, который бы хоть мельком взглянул на Татьяну в этот цветущий период ее жизни.

– Што это, Татьянушка, работищи у тебя какая пропасть! – удивлялась какая-нибудь ее деревенская знакомая, сидя у ней в гостях. – Эдак ты через силу будешь чугуны-то ворочать,

– животы, пожалуй, сразу надорвешь.

– Не работала рази я дома-то? – с сердцем спрашивала Татьяна. – Работала, кормилица, по целым дням, окромя заваливающей корки во рту не бывало, а все работала, ровно лошадь двужильная, неустанная. Здесь мне не в тягость жить, потому корм хороший, компания веселая. Все к тебе с добрым словом, не то чтобы за косы да в поволочку.

Таким образом, несмущаемо довольная своей жирною судьбой, Татьяна с каждым днем толстеет все больше и больше, на удивленье и похвальбу честному купецкому миру. Красноватое, вечно сморщенное лицо, которое носила Татьяна до поступления в кухарки, сделалось теперь мужественно смуглым и довольным, слезливые глаза широко раскрылись, черные зрачки их заблестали каким-то лукавством, сметкой какой-то, говорящей как будто: «Ну, брат, объегорить меня вряд ли удастся тебе. За этим делом, друг ты мой сладкий, приходи к нам в четверг после дождичка!..»

– Как скоро отъелась эта Татьяна, братцы мои! – толкуют про кухарку ее сожители по кухне, Захары. – Выровнялась баба на удивленье, – глядеть на нее почитай нельзя!..

А Татьяна слушает эти речи и посмеивается себе втихомолку. Посмеивается всем этим соседним кучерам и проходящим солдатам – Ликсей Ликсеичам, вечно показывающим с господского крыльца свои немецкие сюртуки, и простым рабочим, гармониками и балалайками оживляющим праздничное свободное время, хлещет в глаза своим ситцевым разводистым сарафаном. Смотрит на нее праздничный народ, как она на лавочке у калитки сидит, в пестром шерстяном платке, в белой кисейной рубахе, от которой на белые руки пышные рукава речною волной упадают, – смотрит и сквозь зубы с тяжким вздохом цедит:

– Н-ну! Эдакая баба хоть кого из нашего брата на чужой стороне сбережет!..

А Татьяна на все шуточки бровью даже черною не ведет.

– Будет тебе, шаромыжник, разговоры-то разговаривать! – обыкновенно отвечала она какому-нибудь зарубившему праздничную муху лихачу, когда он растолковывал ей о прелестях, совершающихся по праздникам в полпивной его будто бы закадычного друга и односельца. – Знаем мы, какой он тебе друг-то! Кабы он тебе друг был, не пустил бы тебя без сапог намедни.

– Дура! – презрительно отзывался лихач о Татьяне, когда она напоминала ему о несчастном, хотя и действительном случае, когда односелец-полпивщик стянул с него сапоги за некоторые бутылки, превышавшие праздничный бюджет лихача.

Татьяна не оставалась в долгу у лихача.

– Сволочь! – отвечала она ему с насмешливым презрением и тут же тонким, заунывным голосом затягивала какую-нибудь песню своей, с каждым днем все больше забываемой, родины.

Много мужских и женских ретивых сердец, тоже, как и Татьяна, отдохавших на улице святым праздничным временем, слушая ее мастерскую песню, вспоминают тогда о том, какими теперь разноцветными лентами развеваются по родимым оставленным улицам знакомые хороводы; на чужой сторонushке въявь слышатся им родные голоса, пред глазами медленно хлещут усмиренные предвечернею тишиной волны речные, за ними зеленеется лес, а там расстилаются кормилицы-поля, – и вот из соседних домов один за одним подходит народ к Татьяне как первой песеннице квартала.

– Не полегче ли душе будет, как песню-другую сыграешь; а то, признаться, так сердце для праздника защемило – страсть! Три года вот уже домой не соберуся никак, – толкуют Татьяна

подходящие соседи.

Слово за слово, песня за песней, и невидимо как приблизился темный вечер, в который еще грустнее делается от этих скорбных ахов и охов нашей народной песни. Слушал, слушал ее с балкона, вплоть закрытого плющом и маркизами, молодой сосед, богатый купец, и не вытерпел, чтобы не вскрикнуть:

– Будет вам, ребята, душу тянуть из меня! Валяйте-ка лучше плясовую какую-нибудь; я вам сейчас водки и пять целковых пришлю.

На долю Татьяны досталось из этих денег три двугривенных. И часто такие случаи выпадали. Деньга валила к Татьяне невидимо; нашла она себе цветных сарафанов, тонких кисейных рубах, накупила позолоченных перстней с светлыми каменными глазками – и непрерывно блаженствует, потому что, хотя и по немалом приставаии, один из самых заухабистых, самым неотвязным образом ухаживавших за ней Захаров наконец-таки покорила ее долго нечувствительное сердце и с большим парадом водил ее, что называется, вдребезги расфуфыренную, в полпивную по воскресным и праздничным дням.

– Где ты ворожбе такой научился, что бабу эту лютую к себе присушил? – спрашивали у счастливица его приятели-лихачи, истратившие некогда много пятиалтынных на бесплодное угощение Татьяны пряниками и орехами.

– А всей моей ворожбы и было тут только, что красота да удаль наша молодецкая! – хвастливо отвечал Захар. – Теперь с этой самой бабой в жисть мою не расстанусь. Сказывают, отец там женить меня на какой-то сельской дуре собирается. Только он это, надо полагать, затевает напрасно, потому я теперь всякого горя ему за это наделать могу...

– Был такой слух и у нас на фабрике, – коварно передают Захару завистливые приятели про небывалый слух.

– И у вас уж знают? – азартно спрашивает Захар. – Значит, старый-то там не шутики шутит. Только вот праздник теперь у нас, братцы, не даст мне тот праздник соврать; а я вам, молодцы, говорю: ничего со мной старик в этот раз не поделает, потому я в солдаты – и она за мной... Так ли я говорю, Татьяна?

– Милый ты мой, золотой ты мой! Известно, што горе теперича мы сообча мыкать должны. На то и в знакомство вошли... – тихонько говорит Татьяна, стараясь усмирить ласками порывы своего любезного, который неоднократно уже порывался разорвать на себе красную рубаху для того, чтобы видели и верили люди, что он теперь против отцова желанья неудержно пойдет...

И на этом пути, как видно, Татьяне везло. Сын за свою любушку восстал против своего сердитого отца, завет родителей, учивших его при отпуске из дома – против женской красоты воевать неуклонно, – забыл, на ее красоту глядячи; а теперь при одном слухе только, что отец подыскивает ему разлучницу, по целым дням кипит и горюет своей молодой душой.

Но недаром играет в песне, что

Сладки яства приедаются,

Красны платья скоро носятся.

Раздобрела Татьяна до такой степени, что кто бы только ни посмотрел на нее, непременно

говорил:

– Ну, уж с этим телом больше ничего не поделаешь. Раскормить его, чтоб оно было более и толще, никакой пищею невозможно.

Лишь только увидала себя Татьяна в таком положении, сейчас же тоска на нее напала великая, и принялась она в этой тоске ныть и с хозяевами, как говорится, храпеть, то есть зуб за зуб. Ей кто-нибудь слово скажет, а она на это слово десять своих в ответ, да таких, что каждое из этих слов всякого человека по лбу словно обухом ошарашивало.

– Что это какая у нас Татьяна брехучая сделалась? – удивляются промеж себя хозяева. – Прежде, бывало, водой не замутит, а теперь слово сказать нельзя. К работе рук не прикладывает. «Я, говорит, в крепость вам еще не продавалась». Уж не прогнать ли ее?

– Посгоди маленько прогонять-то, – вступился сам. – Рази не видишь, баба с жиру сбесилась... Это со многими на моих глазах бывало; это у нас в Расее – словно болезнь какая по рабочему народу ходит. Ты вот погоди, я ей маленько жиру-то поспущу: поутюжу ее безделицу, чтобы не заедалась. Ежели с этого не пройдет, тогда гони, потому самый она тогда пропащий человек выдет...

А Татьяна между тем свое разговаривает:

– Что это, – говорит, – господи, долю ты мне какую послал горемычную? Весь век свой все я из-за чужих рук выглядываю. Ни тебе куска в рот по своей воле нельзя положить, ни покою никогда, как у добрых людей, не бывает!..

А тут эти разные странницы и салопницы, ожидающие в кухне хозяйского подаяния, еще пуще разжигают горящую бабу.

– А ты, – жалостливо толкуют они Татьяне, – смирись. Хошь и трудно тебе с сердцем своим совладеть, а все же смирись, потому господь бог все видит.

– Милая ты моя! – вскрикивает кухарка, ободренная этою поблажкой, – стараюсь ведь я всячески для них, – ничего не поделаешь! Все пуще меня злость разбирает, гляючи на их безурядье; а ведь они тоже носы-то вон куда задирают, словно господа какие! «Мы, говорят, купцы. Грубить будешь, фартальному подарок пошлем, он тебя в полиции отдерет...» Ведь вон они черти какие!

– Ох, жалость меня на тебя разбирает, Татьянушка! Сделай-ка ты по моему совету, на-ка тебе вот эту самую травку, и положи ты ее, мать моя, под изголовье к самой, – авось, может, перестанет она на тебя лютовать. Сам-от – ничего, все молчит, а она – ох, какая подхалимая бабенка, опять же и злющая! Третьево дня сиж у ней, а она мне и говорит: «Что мне только с этой змеищей Танькой делать, ума не приложу!..»

Но всех больше поджигала Татьяну одна московская солдатка, давнишняя содержательница комнат снебилью. Прошедшая огонь и воду и, кроме того, все тридцать четыре мытарства, бабенка эта познакомилась с Татьяной следующим курьезным образом. Раз как-то несчастная коммерсантка, проюрдонивши деньжонки, полученные вперед от жильцов, шаталась по рынку с кульком и с хлебными крошками в кармане вместо денег. Притыкалась она то к одному, то к другому мяснику, пробовала то одного, то другого лавочника веселою шуткою взять, только время подходило уже к обеду, а коммерсантка, кроме как, по ее словам, одного невежества, ничего к обеду приобрести от торговых людей не могла.

Тяжелая мысль – быть пробранной за неприготовление обеда голодными жильцами, а паче того отставным поручиком Бжебжицким – сорвиголовой, поселившимся с бою в лучшей комнате, засела в мозг бабы и мучительно сверлит ее.

«Рази не убець ли мне нынешний день куда-нибудь? – думает пугливая баба. – Завтра, может, достану где-нибудь деньжонок, так пирогов им напеку, а барину-то, окромя еще, полуштоф поставлю, – вот он и смилуется».

А Татьяна между тем пылала в это время желанием знакомства с какой-нибудь благородною женщиной, приказницей, что ли, какою, которая бы ходила в чепце и в немецком платье. Коммерсантка в этом случае как раз удовлетворяла своей особой аристократическим Татьяниным стремлениям. Плюгавая и сморщенная по физической природе своей, она тем не менее всегда с особою бойкостью юлила около людей, которых судьба посылала ей в кормильцы и поильцы. Шик, с которым она донашивала старые платья и чепцы, какими снабжали ее различные ветреные, но великодушные Лизетты, постоянно во время какой-нибудь невзгоды наполнявшие ее комнаты снебилью, был неподражаем. Этот шик свойствен только тем немногим бедным созданиям обоего пола, которых судьба взяла, как об этом говорится, от сохи на время и поселила в столице. Поселила она их в столице и щедро рассыпала пред их деревенскими и, следовательно, простоватыми глазами всю изящную роскошь цивилизованного города, – и вот смотрит-смотрит на эту роскошь какой-нибудь красивый русский парень, толкнутый барскою рукой в слесаря, и вдруг ни с того ни с сего пропивает свою праздничную поддевку, сшитую дома, и покупает на толкучке какое-нибудь жалкое подобие сюртука, и говорит про себя, любовно оглядываясь в тусклое зеркало вонючей харчевни:

– Вот когда мы зафрантили-то!.. Сейчас умереть, на деревне меня бы теперь ни единая душа не узнала, потому как есть немцем стал!..

Трудно вообразить себе что-нибудь жалче такого молодца, когда он в какой-нибудь праздник идет в своем новокупленном наряде с талией, большею частью болтающейся по пяткам, в русских сапогах с длинными голенищами, за которые заткнуты оборваннейшие штанишки. Суконный замасленный жилет с пуговцами в два ряда, с бортами, лежащими на груди в виде каких-то собачьих ушей, и красный ситцевый галстук, обверченный на шее раза три, окончательно довершают сходство новорожденного немца с коровой в седле. А если немец к этому прибавит еще извалявшуюся шляпенку, а по жилету развесит толстую бронзовую цепочку от томпаковой луковицы, тогда поистине чудеса всего мира не представят вам ничего комичнее этого зрелища.

Почти одинаковые комедии разыгрываются и бабами, кухарствующими в столицах. Их коленкоровые чепцы с густыми фалбарами[2], их собственноручно устроенные кринолины приводят в несказанный ужас даже те сердца, которые самым кавалерским образом относятся к человеческому роду.

– Господи! – восклицает даже и такое сердце при взгляде на сельскую бабу в праздничном немецком платье. – Зришь же ты, боже, неуклюжесть эту слоновую и не метешь ее с прекрасного лица земли!..

Ощущая в себе неодолимое желание уважать такие чепцы и такие кринолины, Татьяна долгое время искала себе женщину, которая бы могла ей перестроить ее сарафаны на платья, помогла соорудить кринолин и сшить чепец. В этих видах она, встречаясь с коммерсанткой на рынке, всегда приветствовала ее низким поклоном и пожеланием доброго утра. Но коммерсантка долгое время не отдавала должного внимания этим поклонам и пожеланиям, ибо связываться со всякою деревенскою швалью было решительно вне ее цивилизованно-плутоватых нравов.

Но в описываемое утро, когда коммерсантка приставала с своими просьбами о говядине к невежественным торгашам, когда в ее неоднократно напуганном воображении проносился грозный образ отставного поручика Бжебжицкого с длинным чубуком в красных руках, требовавший от нее обед или жизнь, – в те, говорю, горестные моменты появление на рынке

Татьяны, как и всегда смиренно и непрощено раскланивавшейся, сразу усмирило тревожную душу недоступной до сих пор коммерсантки. Маленькая и, так сказать, чепцоватая бабенка, подшпориваемая Бжебжицким, подбежала к Татьяне дружелюбной иноходью и завязала с ней разговор следующего великосветского свойства:

– Здравствуй, здравствуй, Татьянушка! Что твои идолы-то?

– Да что, сударыня! – ответила Татьяна с досадой, – про моих идолов и разговора нечего заводить. Поедом они меня съели.

Концом этого разговора был заем в рубль серебром, который коммерсантка мимоходом как бы перехватила у Татьяны на самое короткое время. Конечно, рублевый заем не такая великая вещь, чтоб о нем нужно было очень много распространяться; но с него начинается эпоха стремлений Татьяны к кофе внакладку, начинаются ее знакомства с различными барышнями, жилицами коммерсантки, рекомендовавшими себя гувернантками без мест, сиротами полковника или даже генерала и в крайнем только случае вдовами разорившихся, но некогда первогильдейских купцов.

– Как мы с тятенькой в Орле жили, так это даже страсти! – говорит генеральская сирота, перекраивая Татьянин сарафан на платье. – Был тятенька мой, Татьянушка, первым лицом в городе. Все господа в гости к нам ездили, и мы ко всем ездили.

– Торговали мы, милая Татьяна Лексеевна, – в другое время растолковывает ей вдова разорившегося миллионера, – красным товаром. Было, может, его, красного-то товару, в наших лавках на несколько миллионов... вот как! А теперя, сама видишь, какое горе терплю, и все мне господь помогает за мою, должно быть, простоту прежнюю.

Одним словом, все эти чужеядные растения наперебой кинулись перешивать сарафаны Татьяны, поить ее чаем, кофею и занимать у ней часика на два, на три по рублю.

Слушает Татьяна барские, по ее мнению, рассказы с благоговейно выпученными глазами, искренними и тяжелыми вздохами, сочувствует несчастиям некогда столь вельможных барышень, терпеливо жжется их горячим кофе, не задумываясь оделяет их рублями, зажитыми в долгой и трудной службе идолам-купцам, и, наконец, дошла до того, что однажды сама рассказала захожей богомолке, когда никого в хозяйской кухне не было, что она – офицерская жена, что ей по-настоящему барыней быть следует – и была барыней, долгое время была, и именно до тех самых пор, пока не запил ее муж-офицер и не пропал без вести.

– Толкуют, – закончила Татьяна удивленной и соболезнававшей о ее горе богомолке, – в больших теперь чинах муж. Сам, говорят, главный начальник за его усердную службу (в недавнем времени слухи были об эфтом) тремя рублями из своих енаральских рук наградил.

Что именно заставило Татьяну соврать таким образом, до сих пор неизвестно. Известно только то, что вольная жизнь комнат снебилью, которой Татьяна насмотрелась у коммерсантки, до того показалась ей привлекательной, что жизнь купецкой кухни ей опротивела, как говорится, вдосталь.

Не стерпевши наконец постоянно нахмуренного мурла своей кухарки, сам однажды сказал Татьяне:

– Ты што же это, Татьяна Лексеевна, рыло-то воротишь, словно медведь? Али много жира с хозяйских хлебов завела?

– С твоих-то хлебов и заведешь жира! – басовито пробормотала Татьяна, предусмотрительно пробираясь в кухню.

– Стой-ка, стой, мать! – не совсем еще прогневавшись, останавливал ее сам. – Што ты в самом деле не свое на себя берешь! Уж не поутюжить ли мне тебя, барыня? Не поумнеешь ли авось хошь с моей-то легкой руки?

Говорит это сам, благодушно и тихо посмеиваясь и бороду разглаживая, потому знал Татьяну за хорошую бабу и серьезно обижать ее не хотел. Думал, что от одних добрых слов почувствуется.

– Ученого учить – что портить! – возговорила Татьяна на ласковые речи хозяйские. – Своих дураков полны горницы, – их бы первая-наперва поучил.

Тут хозяин не стерпел и дал Татьяне тумака, сначала в затылок, а потом в бок. Татьяна во все свое звонкое горло закричала караул и стремглав бросилась в фартал.

Особенно уголовного дела по случаю Татьяниной жалобы не затеялось. Наутро только квартальный пришел к самому с визитом, потолковал с ним немного, получил от купца про свои домашние обиходишки десять рублишков и посоветовал прогнать со двора кляузницу-кухарку.

На всю улицу орала Татьяна, когда сам прогнал ее; гвалт, с которым Захары толкали ее, по хозяйскому приказу, в три шеи, собрал к купеческому дому много народа; а вскоре после этого на воротах одного разваливающегося и мрачного деревянного дома на Сивцевом Вражке запестрелся билет, гласивший следующее:

«Сдес адаюца комнаты састылом и снебилью вхот, палева фперваю лесницу».

Эти комнаты снебилью оборудовала Татьяне опытная в делах подобного рода коммерсантка.

Спасайтесь от них, бедные люди!

IV

Обыкновенные случаи, обставляющие Татьянины коммерческие мистерии

Этот дом, в котором расположилась Татьяна, битком набитый чумазыми сапожниками, кривоногими портными, обсыпанными с ног до головы сажей гигантами-кузнецами, синими, зелеными и даже иногда желтоватыми и ярко-красными красильщиками, – этот дом, говорю, загудел и заорал еще громче и безалабернее, чем гудел и орал он до водворения в нем съемщицы комнат снебилью. Маленькие мастерские ребятенки, прежде мелькавшие в кабаке и в мелочную лавочку примерно по десяти раз в день, теперь бегали в означенные места непременно раз по пятнадцати; ибо прапорщик Бжебжицкий, день и ночь лупившийся в штопе с своими закадыками, в то время, когда тихая и тайная полночь укладывала на убогий одр Лукерью (Татьянину кухарку), часто выкидывал следующие фокусы. Отворивши окно своей квартиры, он зычно обращался к ребятенкам-ученикам, которые, как известно, осень и лето спят по разным дыркам, в дровах, в холодных чуланах, на сеновалах с хозяйским кучером и проч. и проч.

– Эй вы, чертенята! – орал Бжебжицкий. – Куда вы застряли там, бесовы детки? Ежели кто из вас достанет мне сию минуту штоф водки, пять селедок и луку, тот получит от меня пятак. Жива-а!

В тот же момент бездушная, но громадная масса дров, сложенная под окнами прапорщика, обнаруживала некоторую жизнь. В этой полночной тишине, которая даже подчиняет себе

немолчный шум столиц и больших городов вообще, глухо затренькало что-то, зашуршало, – и вот пред усатым лицом отставного военного предстал всех и всегда слушающийся дух в виде некоторого маловозрастного халатника, с белокурыми шаршавыми волосами, с молодым личиком, отчетливо изрисованной приобретенной в городе плутоватостью и неудержимой охотой приобретать от тороватого столичного населения пяточки и гривеннички, которые так обильно вознаграждают скупердяйство и даже в некотором смысле суету хозяйских обедов и ужинов.

Предстал этот дух и, канальски улыбаясь и рабски переминаясь на месте босыми ногами, доложил прапорщику:

– Я эфто дело-с, ваше высокоблагородие, вам в точности оборудую, потому как я служу-с вашим благородьям верно-с... Лавочник Митрий-с сказал мне-с: «В полночь ко мне стучись, – обижен не будешь».

Смеется мальчишка и, говоря эти слова, как-то знаменательно топчется.

– Молодец-парнек! – похвалили его из-за карт юнкера и прапорщички и вообще все те московские полночные совы, которые проявляют свою деятельность по разным закоулкам преимущественно в ночное время, потому что днем она слишком ярко и ослепительно бросалась бы в глаза остальному обществу.

– Я вам, ваше высокоблагородие, все могу-с... Теперича у нас в мастерской хоша и есть большие ребята, но они того не могут сделать, что я могу, потому я все равно как взрослый какой! Водку я тоже могу...

– Неужели и водку можешь? – осведомилась у ребенка пьяная компания.

– Сейчас издохнуть, могу! Что ж такое? Мне это все нипочем. У нас, ваше высокоблагородие, весь род такой: три брата здесь на мастерстве пропали, отец пропал, двое дядей, материн племянник, так все тут до единого лоском и легли. Наши сельские говорят: это они от большого ума запились...

После такой семейной характеристики прапорщик еще усиленнее принялся хвалить доблестного парнишку; но тем не менее, когда парнишка раздобыл штоф, селедок и луку, заслуга его была награждена вовсе не пяточком, а просто-напросто шутивою трепкой, потому что как сам Бжебжицкий, так и его компания давно уже метали и понтировали на счет его сиятельства графа Шереметева, то есть: «Я вот, любезный друг, сотру тебе два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи, а ты посылай за свечкой – и тогда опять залупливай во всю ночь!» А любезный друг отвечает: «Нет уж, посылай за свечкой сам, а запись я тебе в непродолжительном времени сполна уплачу».

На другую ночь прапорщик тщетно оглашал предутреннюю тишину спавшего дома, призывая какого-нибудь субъекта, годного к приобретению водки в незаконные часы. Ночь отвечала ему одним только лаем пугливой и крайне, впрочем, задорной оболонки, принадлежавшей одной из бесчисленных полковничьих дочерей, которая поселилась у Татьяны вдвоем с некоторой несчастною девицей, отошедшей, как она говорила, от отличного места собственно как за свою честь и за холуйское обхождение с нею хозяйского сына, восемнадцатилетнего гимназиста. Так один только лай оболонки отвечал на возгласы Бжебжицкого, да изредка перешептывались между собою конурки, образовавшиеся в дровах, – конурки подлестничные, закоулки в извилинах галереи, опоясавшей весь дом и верхушки конюшен.

– Это вчерашний барин-то покрикивает? – слышался шепот с чердака одноэтажной красильни.

– Спи, молчи, покуда он тебя не поднял. Бедовый! – говорит другой шепчущий голос с сеновала, но говорит так тихо, что можно было подумать, что это зашуршало сено под легкими ногами испуганной полночного силой кошки.

– А, бесы! – гремит проигравшийся на несколько миллионов воин с третьего этажа. – Да дозовусь ли я какую-нибудь шельму? – спрашивает он наконец, грузно сходя с деревянной скрипящей лестницы. – Где вы тут, ракальи? – и при этом он быстро запускает руку в подлестничную конурку и вытаскивает оттуда некоторого заспанного и малолетнего артиста по сапожной части.

– Ты что же это, каналчонок, так крепко дрыхнешь? Не слышал разве, как я тебя звал, шельменыш ты эдакой?

– Я думал, барин, что вы это не меня кличете...

– Цыц! Тебя или другого – все равно. Сейчас должен бежать, как только заслышишь мой голос. Марш в кабак! Штоф очищенной и дюжину баварского! Да не забудь смотри: фрицовской фабрикации спрашивай.

– Это, сударь, Ванюшка на эфти дела ходок, а не я. У него вся родня такая!.. Вся она у него на эфтих делах без остатку сгасла, – говорил испуганный мальчик. – Вон, вон он убежать хочет от вас из дров. Заслышал, что про него вам сказываю, и убежал.

– Веди меня к нему, куда он убежал! Я ему покажу. Ах, шельмы! Ах, каналы! Проливай после этого за них свою кровь! – шутил Бжебжицкий, и компания, смотревшая из окон на его экспедицию, вторила его шуткам громким смехом, пронзительно скандализировавшим ночную тишину.

И тут же, в довершение эффекта, раздаётся звонкий крик вчерашнего шаршавого мальчишки, которого феодальный прапорщик насильно протискивает в кабак.

– Не пойду, не пойду! – кричит ребенок. – Что я вам буду ходить-то? Колотить-то меня и без вас раз сто в день колотят.

– А вот тебе, ракалия, сто первый! Вот тебе сто первый! Пойдешь?

– Не пойду. Бейте: я ведь терпелив. Меня эфтим небойсь не изнимете.

– Врешь, пойдешь! Врре-ешь, пойдешь! Ну, говори, пойдешь теперь?

– Пойду, пойду, барин! Сейчас лётот полечу, пустите только...

– Что? Не стерпел? А туда же толкует, что его ничем не изнимешь. Ну, бежи же, да смотри: у меня не зевать!

В это время, словно из какого подземелья, послышалось сначала визжание дверного блока, а потом голос дворника:

– У нас, ваше благородие, не такой дом, чтобы в нем буяннить! Буянство в нем тоже не дозволяют...

– Ш-што? – спросил прапорщик. – Выплыви, каналья, на свежую воду, я на тебя погляжу...

Дворник моментально скрылся после такого столь законного желания, выраженного непобедимым воином; а шаршавый паренек, род которого без остатка угас в московском мастерстве, благополучно прошмыгнул в калитку.

– Я тебе в первый и в последний раз говорю, – протяжно толковал на дворе Бжебжицкий оставившему поле битвы дворнику, – у меня, брат, руки по швам. Я, брат, не люблю. Я, любезный друг, прямо тебе скажу: никакие мордасы мне сопротивляться не в силах. Вот что!

И все, что было живого в доме, навсегда запомнело эти заключительные слова бравого солдата, как сам себя называл прапорщик, так что после этого изречения не находилось ему ни спорника, ни поборника в целом квартале и даже в близлежащих окрестностях. Пошло, следовательно, дело таким образом, что не только приказания самого прапорщика беспрекословно исполнялись мастеровым населением дома, но даже и приказания протежируемых им полковничьих дочерей, безместных гувернанток, несчастных девиц и разорившихся миллионеров-купчих, которые неудержимыми волнами влились в Татьянины комнаты снебилью.

В окнах швейной и цветочных мастерских, помещавшихся на том же дворе, показались толстые коленкоровые шторы; но когда эти шторы оказались бессильными сдерживать натиски Бжебжицкого и компании, квартировавшей у Татьяны, окна были закрыты почти наглухо частыми проволочными решетками. Но изобретательность Татьянинных жильцов проникла и сквозь эти решетки, так что в прежде веселые воскресные вечера, когда шумными играми этих красильщиков и портных, кузнецов и цветочниц, швей и сапожников до краев зачерпывался тесный двор многотрудящегося дома, – в эти вечера, сделавшиеся после Татьянинных комнат какими-то грустно-тихими, очень нередко разыгрывались те едва приметные в оглушительно шумящем кипятке столичной жизни драмы, которые ложно направленные общества с плутовато-снисходительными улыбками называют обыкновенными, но от которых тем не менее мучительно скорбит всякое новое сердце.

– Лукерья! – говорил кухарке один бородатый юноша, – подай свечи, да ежели Дуняша из цветочной прибежит, скажи ей, что меня дома нет. Тетенька, мол, к нему с машины неожиданно приехала. Ни под каким видом не пускай. Понимаешь?

– Проказник вы, Петр Лукич! – улыбается Лукерья, медленно покачивая головой.

– Что? – в свою очередь, осведомляется Бжебжицкий, промывая горячим чаем длинный черешневый чубук. – Верно: цвели, цвели цветики, да поблекли?

– Комиссия! – отвечает борода. – Не знаю, как отвязаться. Плачет, как река льется. По чем? – сего никто понять не в состоянии.

– А вы ее, за слезы-то, взяли бы за белы руки да за длинный хвост – да на лестницу. А то не знает, как отвязаться! – поучительно наставляет Бжебжицкий юную бороду. – А позвольте узнать чин, имя, фамилию и состояние особы, находящейся у вас в настоящее мгновение.

– Тише! – шепчет юный. – Это такая история, такая странная история! Вот смотрите: дала сейчас двадцать пять серебром и приказала за ужином посылать.

– Отцы мои! – ужаснулся Бжебжицкий. – Ну-ка, покажите деньги-то. Так, так: депозитка[3] наяву. Так я, друг мой, в момент распорядюсь ужином. Только вот одежонку накину.

– Смотрите только, – трепещет юноша, – не просадите в биллиардной. Осрамите меня.

– Полно, пожалуйста. Что я за дурак такой! Этими странными, как вы их называете, историями нужно пользоваться да пользоваться. Тут протекция может быть. Тут, – чем черт не шутит! – городничество чудесное можно с одного выстрела зацепить. Таких чудес-то иные люди во всю жизнь стараются достичь, да не достигают. Вот что! Так я живо сооружу трапезу. У меня тоже, как у онамеднишнего мальчишки, весь род на этом мастерстве угас.

– Лукерьюшка! дома Петр Лукич? – спрашивает цветочница Дуняша про бородатого

счастливица. – Насилу-то я к вам урвалась от хозяйки. Дай, мол, пойду вечерок скоротаю.

– Ох, девушка, девушка! – грустно сказала Лукерья, – чуть ли не пришел конец вечерки-то тебе у нас коротать. Не велел ведь твой дома сказываться. «Скажи, говорит, ей, что ко мне тетка приехала». А какая она, черт, тетка? Расфуфырена, точно, до страсти, аки барыня какая большая! В третий раз уж гостит у него.

– Что же, она и теперича у него сидит? – торопливо выпытывает Дуняша, побелевши всем своим румяным шестнадцатилетним личиком.

– И теперь сидит. Барина-то того прощального за ужином в ресторацию услали. Он тоже, барин-то этот, любит на чужбинку-то. У него губа-то, я тебе скажу, ровно бы у заправского господина на барские-то кушанья оттопырена.

Но Дуняшу уже не занимал кухаркин рассказ про прапорщичью, оттопыренную на майорский манер, губу. Не сморгнув, смотрит она на кухарку и как бы ждет от нее чего-нибудь более интересного; но кухарка, закончивши губой свои разговоры, принялась загадывать на засаленных картах про некоего разбойничка-солдатика, который ушел куда-то в далекий поход, занявши у ней предварительно на самый короткий срок красную бумагу в десять рублей ценностью.

– Черт его, прости господи мою душу грешную, знает! – шептала Лукерья, пристально рассматривая карты. – Вот ведь и дорога ему лежит в бубновый дом; вот ведь, кубысть, и антирес для бубновой крали вышел; а все не несет его нечистая сила! Черти эти люди-то, грабители! Так-тось! – закончила она и благодушно перекрестила сладко зевнувший рот.

– Так что же, Лукерьюшка? Как он тебе сказал-то? – снова начала Дуняша. – Так и приказал: что, дескать, не пускай ее, – меня, мол, дома нет?

– Так и сказал, друг сердечный! Только ты не убивайся. Что убиваться-то по этим мужикам? Обманщики они, ироды! У меня вот тоже Максим, ундер из депа, брал красную-то бумагу, дюже божился, все говорил: «Глаза лопни, через неделю сполна принесу!» Теперь вот третий год уж пошел, как он носит деньги-то. Только, ты думаешь, не лопнут у него за это бельмы-то его собачьи? Лопнут. Утроба-то ненасытная, и то, может, лопнет. О, чтоб их всех порастрескало, проклятых этих мужиков! Умеют они нашу сестру объегоривать.

– А она, это ты правду говоришь, все еще у него сидит? – еще раз переспросила Дуняша.

– Что ж я тебе, дура, врать, что ли, стану? – с досадой ответила Лукерья. – Что я его, кобеля борзого, укрывать-то нанялась, что ли?

– Ах я разнесчастливая, разнесчастливая! – вдруг вскрикнула Дуняша, вцепившись руками в свои волосы. —

Дай-ка же я брошусь на нее, на разлучницу мою лютую! Дай же я ей ясные ее глаза своими когтями выковырну!.. – и с этими словами она бросилась к запертой двери и ударила в нее и обоими кулаками, и головой, и крепкою грудью.

– Что ты, что ты, беспутница, делаешь? – закричала Лукерья, бросившись вслед за обезумевшею девушкой.

– Куды те, полоумную, шуты несут? – кричала на Дуняшу Татьяна, тоже бросаясь на нее из своей каморки.

– Что тут такое? Что тут такое? – пугливо осведомлялась красивая полная барыня из-за чуть растворенной комнаты своего любезного бородача, сверкая золотую часовую цепочкой, развешенною на груди в виде адъютантских аксельбантов.

– Это ничего, сударыня! Это у нас больная есть, – говорила Татьяна, понявшая уже, что жильцам надобно делать всякое удовольствие и послугу.

– Же лонер, мадам! Милль пардон, мадам! – расшаркивался воротившийся из трактира Бжебжицкий и достаточно уже хвативший для смелости. – Это моя сестра! Маляд, бедное дитя! Она в горячке! – плакал услужливый воин и могуче оттаскивал девушку от двери. – Друг мой! Бедный друг мой! – говорил он. – Поди ляг в постель, голубенок! Успокойся.

– Подите к черту! – простилась Дуняша с компанией, быстро сбегая с лестницы.

– Комедчики! Право, комедчики! – разрешила всю эту историю хладнокровно Татьяна. – Только и дура же эта Авдотья! Поди-ка что выдумала – к господам драться полезла! Молода еще больно, фарталы-то, должно быть, и во сне еще ей не снились...

– Что, Авдотья Елисеевна, али с господами-то – не с нашим братом? – встретил Дуняшу на дворе молодой мастеровой, некогда отвергнутый ею. – Хорошо, верно, господа привечают, да хорошо и вон провожают... – с насмешливою тоской говорил он девушке, дрожавшей всем телом от злости на человека, так нахально обругавшего ее первую, молодую любовь.

– Милый ты мой! Митя, голубчик! Расшиби ты сейчас окно у них, у разбойников! Я тебя за это, умереть мне на месте, полюблю с этого самого часа. Только ты возьми камень и расшиби.

– Беги за ворота, а оттуда в пивную к Прокофью, там меня и жди; сиди смирно, не пугайся, ежели полиция придет. Скажешь тогда, ежели спросят: «я, мол, тут с Митрием близко часу сижу», – советовал Дмитрий, и скоро после этого в комнатах снебилью целая оконная рама была вдребезги разбита десятифунтовым булыжником.

– Держи, держи! – орал Бжебжицкий, размахивая своим ужасным чубучпцем.

– Держи, держи! – голосил дворник на улице будочникам; но халатник сидел уже у дяди Прокофья и любовно говорил своему новому другу:

– Милая моя! Ты вот осмеяла меня тогда: мастеровщиной немытой ругала, – а все же я тебя в твоём грехе от всего моего сердца прощаю. По молодости по своей девичьей проштрафилась ты, не знала, что господа-то вашу сестру для утехи своей обманывают... Пей пиво, голубь, не плачь, потому настоящего-то горя так и то не выплачешь, а твое горе – не горе, а плевое дело...

– Я, Митя, и не плачу, – шептала Дуня. – Я вот только с сердцем никак не могу совладать; дрожит оно у меня очень, сердце-то! Всех бы я их до одного человека теперича зубами изгрызла.

– Мы теперича, – растягивал Дмитрий, пьянея и, следовательно, уже начиная муштровать свою бабу, – мы теперича никогда не должны этого говорить. Потому перед богом такие слова – грех, по Писанию не так... Опять же, ежели ты возверзишь... и воззовешь... Н-ну, од-дно сл-лово... у меня слушаться! Со мм-мной тебе, девка, хор-рошо буд-дет! Я не вор-р, не пьяница чтобы большой уж очень, – грамотен тоже... Слушайся меня, девка, пей пиво, а я твоего греха не попомню. Цалуй!..

Немало также новой жизни в прежнюю патриархальность воскресно-мастеровых вечеров дома внесли и праздничные возгласы Захара, бывшего подручника Татьяны у купца. Затешется он, бывало, на дворик комнат снебилью, станет пред их окнами растрепанный, разбитый весь, с пьяным, чахоточным румянцем на лице, и заорет:

– Эй, Татьяна Ликсевна! Отворяй ворота, принимай за повода, – гости приехали!.. – И ежели Татьяна, распивая кофей с приятельницами в каком-нибудь дальнем углу своей квартиры, не

услышит молодецкого вызова, то кто-нибудь из жильцов, а чаще всего прапорщик Бжебжицкий, неустанно посылающий из своего окна поцелуйчики проходящим дамам, непременно бежал к ней и докладывал:

– Татьяна! Опять Захар пришел, пьянее прошлого. Что же ты не сразишься с ним? Бежи скорее; ругает он тебя на чем свет стоит.

– Ах, губитель! Ах, злодей мой великий! – восклицала Татьяна. – Осрамит он меня теперь до конца. Что я с ним, с варваром, буду делать?

– Сразись поди, пролей свою кровь! – советовал жилец, алкая потешить свое бездельное одиночество медвежьей травлей. – Может быть, вид твоей жертвенной крови, – продолжал шутливый барин, – и приведет его снова в норму.

– Какая ему теперича норма! – возражала Татьяна барскому слову, с коварною целью показать, что она нынче понимает тоже по-французскому. – Он теперича, ежели я дворнику четвертака не дам, брехать будет до самой зари утренней.

– Так ты прибегай поскорее хоть к сему спасительному средству, не то ведь скандал выйдет.

– Будет уж вам! – пугалась Татьяна. – Мне и без ваших присказок тошно.

– Тошно? А зачем изменяла? Помни, что злодеяние всегда наказывается, а порок торжествует.

– Что же, Татьяна Ликсевна? – кричал со двора неугомонный Захар. – Али, барыней стамши, компанией старинной брезгаете? Эдак-то, кажись бы, добрые люди не делают.

– Будет тебе, молодец! – усовещивал Захара дворник. – На чужом дворе буяннить тоже не очень-то нашему брату дозволяют.

– Валяй, валяй ее, друг сладкий, половчей! – советовали молодые мастеровые. – Ежели ты ее, то есть, как следует пропечешь, сейчас умереть, мы тебе пару пива на складчину тотчас же выставим, потому чтобы про нашего брата знали и ведали.

– Мы, друзья, свои дела и без пива в тонкости знаем, – хвалился Захар. – И как я вам раньше объявлю, как перед господом богом, вряд ли этой самой Таньке голову свою от меня убережь, потому она жисть мою молодую заела; от ласки моей сердечной отвернулась, стерва проклятая, и оплевала ее, эту самую ласку. Эхма!

Большая душевная потеря слышалась в голосе пьяного молодца. Стоит он посреди двора, готовый на все, и с каждой минутой возжигается все больше и больше.

– Други! – кричал он, – ведь что она со мною сделала! У места в сновальщиках был – прогнали ради ее, стариком своим за любовь с нею проклят, родными брошен! И на все это я не посмотрел, все одну ее в душе моей содержал... Ах! держите меня, братцы, пожалуйста, а то как бы греха какого не случилось, как бы она от моей крепкой руки не подохла.

– Будет, будет, дружок! – уговаривал снисходительно дворник, разжалобленный этим сокрушительным горем. – Видишь, народу сколько собралось; ундер, пожалуй, придет, в сибирку заберет. Что хорошего в сибирке...

– Ах, ничего нет в сибирке хорошего! Только блаже бы мне в самой Сибири быть, чем с этой паскудой водиться. Ах, надо мне с нею порешить, братцы! Заодно уж мне погигать-то! Расступись, народ!..

И при этом Захар вбегает на лестницу комнат снебилью, и скоро ожесточенная битва,

начатая им с Татьяной в ее квартире, переходит на двор, поглотивший собой праздничное внимание целого дома.

– Краул! краул! – звонким дишкантом кричала Татьяна в сильных Захаровых лапах.

– Как он ее любит! Как он ее любит! – басовито шутил Бжебжицкий, покуривая жуков[4] из длинного черешневого чубука.

– Это точно, ваше высокоблагородие, что он ее очинно любит! – подвернулся какой-то пестрый халат. – Он без нее жизни готов решиться, ваше высокоблагородие! Каждый праздник так-то ходит сюда этот молодец, и каждый раз их обоих в полицию забирают. Потеха!

– Ну, разговорился! – прикрикнул Бжебжицкий на халат, справедливо вознегодовав на такую фамильярность. – Все вы таковы, каналы!..

– Батюшки, заступитесь! Родимый, отбивайте!.. Убьет! – умоляла Татьяна, вьевшись, однако же, всеми зубами в плечо своему беспощадному противнику.

– Вот как у нас, Татьяна Ликсевна, старинных люблюшек привечают! Вот как мы им русые косы расчесываем, белые лица разглаживаем, – во-от ка-а-к! – злобился Захар, волоча Татьяну по грязному двору.

Волны народа, облелеявшие бойцов, бурлили и переливались около них, словно бы крутил их вихорь летучий; но тем не менее никто не решался расхолодить этих раззлюбившихся зверей, которые с пеной у ртов грызли друг друга и ворчали, ежели кому из них удавалось как-нибудь покрепче тиснуть так недавно дружеское тело.

– У них теперь надолго пойдет, – толковали в толпе. – Ежели их теперича водой не разлить, до самой до темной ночи продерутся.

– До полночи не продерутся, – слышались возражения – устанут, опять же и кровь... Уж тут долго не надерешься, коли кровь пошла. Сейчас же тебе в голову вдарит...

– Это точно что вдарит; особенно ежели нос тебе рассадят...

– Что, что тут такое? – возговорил наконец старик ундер, пришедший на шум. – Ты опять тут? – обратился он к Захару с грозным вопросом. – Я тебе в прошлое воскресенье что сказал, а? Чтобы нога твоя здесь не была? А ты опять затесался; опять ты тут, разбойник, буйство стал учинять? Я же теперь тебя побаюкаю за такие дела!.. – И при этом карательный старик свалил Захара с ног, хвативши его, что называется, в едало или в самую суть.

– Бей, бей его, сударь, разбойника! – со слезами просила Татьяна. – А как сменишься, приходи ко мне чай пить... Я тебе господских щей налью и водки куплю.

– Много благодарны, Татьяна Ликсеевна! Свое дело знаем: мы его сейчас, как следует, по начальству, – объяснялся старик мимоходом в квартал, куда он потащил Захара, который, в свою очередь, на всю улицу орал:

– Мне теперича все нипочем! Я свою душу утешил! С меня будет...

– Молодец! – поощряли его мастеровые. – Ничего они тебе в фартае не поделают. В другой праздник придешь, так мы ворота-то припррем, городского-то не пустим, – расправляйся как знаешь...

– Молодец! – вторил им Бжебжицкий. – Свое взял, а там – хоть трава не расти. Что, Татьяна Алексеевна, побаловаться изволили маленько? Верно, это не то, что кофе распивать да за

деньгами приставать каждую минуту? Говорил ведь я тебе, дура ты эдакая, ежели будешь за деньгами часто ходить, так либо я тебя одую, либо Захар. Вот так и вышло по-моему!.. И на картах тебе гадать нечего было...

И под громкий и вместе с тем непрерывный гул такого рода сцен с каждым днем все больше и больше разрасталась по широкой Москве, между ее известным людом, слава Татьяна заведения. Посторонняя жизнь, так или иначе интересуюсь жизнью комнат снебилью, отовсюду налетая на дом, в котором помещались они, в соединении с случаями, подобными только что описанному пассажи, образовала наконец у ворот дома, на дворе его и в самом доме как бы какой вечно крутящийся, вечно шумящий омут, непрерывно горланящая пасть которого ежесекундно пыталась самыми страшными и разнообразными пытками все, что, по несчастью, жило по соседству с комнатами.

– Любезненький! Где тут Татьяна Ликсеевна – съемщица живет? – пугливо всунувшись в калитку, спрашивает у дворника румяный приказчик с громадным кульком под мышкой.

– Ступай ты лучше отсюда, купец, ступай, покедова я тебе шею не нагрел! – отвечает дворник, измученный многочисленными расспросами разнообразнейших субъектов о местожительстве Татьяны Ликсеевны. – Сейчас умереть, ежели не уйдешь сию минуту, побегу к хозяину, – я ведь знаю, у кого ты живешь, – и скажу ему: вон, мол, где твой соколик погуливает!

– Напрасно вы, любезный человек, сердиться изволите-с, – ласковым и крайне пугливым голосом шепчет приказчик. – Пожалуйста, не шумите-с: мы с вами сначала по политике будем рассуждать, денег вы от меня много можете завсегда иметь, потому как мне не Татьяна нужна, а Прасковья Петровна: девица такая живет у ней. Нужно нам ее в Останкино пригласить на прогулку-с.

– Знаем Прасковью Петровну. Ступай вон в энто крыльцо; только у ней, братец, вашего брата, купца, много теперь засиделось. С вечера еще в экой ли пристани тихой кантуют. Слышишь вон, как на итарях наяривают?.. Это у ей.

– Это ничего! Пушай их наяривают; она нам всякое снисхождение завсегда оказывает, потому доброту нашу ценит, опять же и деньги наши... – торопливо закончил купец и, выхвативши из кармана горсть мелочи, бросил ее дворнику и мышкой юркнул на крыльцо оценивающей должным образом его доброту Прасковьи Петровны.

– Экой народ взбалмошный – эти купцы! Ума у них не так чтобы много, а деньжищев гибель! – со вздохом заключил дворник, пересчитывая новенькое серебро. – Все это надобно мне в клад положить, потому не скоро таким образом разживешься. Где только черти эти берут такую деньгу, – смотреть хорошо!

– Эй, землячок, родимый! – перебил дворника тоже испуганный, но басовитый голос приезжего мужика, тоже, как и недавний купец, пугливо просунувшего в калитку косматую голову.

– О, чтоб вас совсем! – гневался дворник. – Словно омут какой, так тебя и прет! Что тебе?

– Да то-то, кормилец! Кое место приехал, черти в кулачки не бились, – все девку свою ищу. Ушла из деревни на заработок, а теперь, говорят, вольного поведения стала. Сказывали, в ваших местах скрывается, у какой-то офицерши Татьяны.

– Офицерши! – презрительно воскликнул дворник. – Много их, таких офицершев-то... Как девку-то зовут? Сказывай у меня живее, а то уйду сейчас, тогда, хоть ты околеи тут на сем месте, ничего не узнаешь!

– Прасковья была, кормилец! Мы ее в деревне-то всё Праскуткой звали.

– То-то Праскуткой! Пускаете вы их сюда на свой срам, а на их погибель. Вот что! А тебя-то как зовут?

– Меня-то?

– Да, тебя-то!

– Дворник! Ты дворник? – перебил мужиков ответ некоторый юркий барин с горделиво-холуйским выражением в лице. – Куда тут переехала недавно благородная девица одна, Адельфиной Лукьяновной зовут?

– Был Петр Иванов, – продолжал мужик прежний разговор.

– Так и есть! Дочь твоя, Петр Иванович, у нас в этом самом доме живет; только жаль мне тебя, а помочь нечем. Такой она теперь барыней сделалась – на все руки! – жалел дворник бывшего некогда Петра Иванова, не обращая внимания на юркую личность. – Придется тебе ее, дружок, знатно за волосы отхватать.

– Что же ты, скотина, не отвечаешь? – вскрикнул барин. – С ним благородный человек разговаривает, а он все к своему серому волку морду гнет. Успеете еще рожи-то друг другу в харчевне расколотить.

– Виноват, ваше высокоблагородие! – спохватился дворник, в момент выхваченный этим окриком из-под занятого впечатления, навеянного на него разговором о пропащей Петровой дочери. – Вон по тому крыльцу извольте идти в седьмой номер. Там вы эту барыню сразу отыщете.

– Ведь кричит тоже! – бурлил привратник вслед уходящему сердитому господину. – Подумаешь, что заправский барин к заправской барыне пришел в гости, и, подумавши, испугаешься. А как знаешь эти порядки, ничего-то ты не боишься, потому ежели тебе самое мудреное немецкое имя скажут, ты уж и знаешь, что врут... Твоя дочь-то тоже теперь по-немецкому назвалась – и не выговоришь. Прокурат[5] здесь народ, Петр Иванович! Все это он нога в ногу с господами норовит, отчего и гибнет, особенно женский пол; потому стрекулятников этих в столицы пропасть. Всякую они деревенскую девку, самую степенную, беспрременно с пути собьют. Хитры на эти дела бездомовники проклятые!

– Били бы подюжее их! – исхитрился посоветовать дядя Петр. – У нас по деревням таких-то чем ни попадя колотят. Застанут у какой, оглобля под руку попадетсЯ – оглоблей бьют, топор – топором... Злы мужики насчет эфтого...

– Н-ну, здесь так-то нельзя; здесь порядки не те. В полицию, говорят, представляй. Там, говорят, на всякое дело закон прописан. А все же я тебе советую с дочерью своим судом лучше расправиться; по судам-то не ходи, потому, вижу я, простоват ты – обчешут. Возьми, говорю, за косы-то ее да по зубам хорошенько, чтоб она отца с матерью не срамила.

– За этим не постоим, золотой! Известно, родители. Вдаришь, как не вдарить... Так и батюшка с матушкой (пошли им, господи, царство небесное!) с детками расправляться учили...

И, перекрестившись при воспоминании о покойниках батюшке с матушкой, дядя Петр отправился к дочери.

Но и крест, разгоняющий адские полчища, не разогнал бесов большого города, которые в беспрестанной и крикливой тревоге возились в доме, занимаемом комнатами снебилью, и вне его. Человеческие радость и горе отовсюду или тихим, усталым шагом пешехода ползли

в эти комнаты, или въезжали под их крыльцо на лихачовских рысаках, от бойкого скока которых колебался весь дом и жалобно дребезжали стекла в рассохшихся рамах. И в то время, когда дядя Петр расправлялся с своей непутевой дочерью, в подвалы и в нижние этажи к мастеровым забирались многообразные личности и торопливыми голосами людей, безотлагательно куда-то поспешающих, громко спрашивали:

– Послушайте, скажите, пожалуйста, где живет студент Клокачов?

Немец-слесарь, которому был предложен этот вопрос и который с утра выслушал уже таких вопросов бесчисленное количество, на минуту прекратил визжание железа, опиливаемого английским терпугом, с досадой бросил его на верстак и, злобно выпучивши на гостя слезливые глаза, крикнул:

– Я разве вам дворник? Чтобы черт побрал все! – И при этом он быстро заменил сюртуком фланелевый халат и ушел в биргалль[6].

– Где здесь отдаются комнаты? – переспросили несчастливца уже на дворе, и натурально, что несчастливцев ускорил шаги и ответил следующее:

– Здесь ни одной нет комнаты! У черта в аду много бывает комнат, – д-да!..

– Эй! мейн гер! – кричит из окна утекающему немцу прапорщик Бжебжицкий. – Подите сюда, пожалуйста. Дело есть.

Немец с видимою неохотой возвращается.

– Почтенный бюргер! – говорит ему Бжебжицкий, – вы непременно идете пить пиво; захватите и меня с собой. Больше сего я вам ничего сообщить не имею.

Несколько приятельских лиц с хохотом показываются в окнах прапорщичьей квартиры и крайне любопытствуют проследить ту злость, с которой немец смотрел некоторое время на их шутливового товарища.

Благообразный мужчина с дамой, одетой в щегольской бурнус, останавливается против офицерских окон и спрашивает:

– Позвольте узнать, милостивый государь, где здесь отдаются меблированные комнаты?

– А вот извольте идти в это крыльцо, во второй этаж. Позвоните и спросите съемщика Ивана Медвежатникова, – грациозным жестом указал Бжебжицкий на крыльцо одного вечно занятого учителя гимназии, служившего всегдашнею потехой для целого дома.

Скоро компания, собравшаяся у Бжебжицкого, имела наслаждение видеть, как мученик-учитель выбежал на двор в туфлях и шляфоре, таща за руку благообразного мужчину, дама которого стремительно утекала за ворота.

– Вы разве не видали этого? – горячился учитель, показывая своей жертве на билет, приклеенный на двери в его ученую берлогу. На билете значилось:

«Здесь не отдаются комнаты с мебелью, а отдаются у Татьяны. Вход к ней из ворот направо, по второй лестнице, в третий этаж». Изречение это было переведено на французский и немецкий языки.

– Я не понимаю, милостивый государь, где у вас были глаза, – кричит учитель, – когда вы шли ко мне!

– Извините, ради бога! Меня послали сюда, сказали, что у господина Медвежатникова...

– Какой там черт Медвежатников? Это вон всё те шалопаи потешаются...

– Профессор! Профессор! – кричал с хохотом Бжебжицкий, – не сердитесь. Муки эти на том свете за ваши ученые грехи вам зачтутся.

– Шаромыга! – отвечал, в свою очередь, профессор, грозя кулаком своему врагу.

– Ругаются! – доложил учителю подошедший к нему в это время лакей. – Ужаси как ругаются! Сказали, чтоб я в другой раз и приходить не отважился. И тебя, говорят, из окна вон вышвырнем.

– Как же они ругаются?

– Сказать не смею-с; только просто ругаются ругательски! Говорят, ежели он еще раз пришлет, спустимся мы к нему в квартиру и изобьем его.

– Ступай в квартал! Там так все и объяви, от моего имени.

А из открытого окна каморки, занимаемой благородною девицей Адельфиной, на весь квартал разливалась разухабистая «барыня» на двух скрипках и на гитаре, сопровождаемая молодецкими выкриками и как есть демонским трепаком.

– Вали гуще! – кто-то пьяный орал во всю грудь. – Что на них, на чертей, глядеть-то! За то деньги платим. Мы тебе покажем, как к нам лакея присылать с наставлениями, – крикнула какая-то рожа, высунувшись из окна.

– Краул! Краул! – кричала мансарда совершенно по-женски. И вслед за тем та же мансарда, переменявши тон, приговаривала по-мужски: – Я тебе, шельма, дам, как кофе ходить распивать к господам в номера.

– Батюшки! Что же это такое? – обливаясь горькими слезами, спрашивал дядя Петр Иванович, выходя из комнат снебилью. – Родная дочь на отца руку накладывает, а?

– Ишь, музлан, туда же, учить лезет! – щебетала вслед ему Прасковья Петровна, прощельжничеством большого города нареченная Амалией Густавовной. – Не учил тогда, когда поперек лавки укладывалась, – теперь уж не выучишь: теперь уж мы вдоль лавки-то в пору только укладываемся... Так-то! Увидишь своих, поклонись нашим; а то, видите, кварталом вздумал стращать, ежели не остепенюсь!..

– Вот она, Русь-то, разгулялась! – хохотал Бжебжицкий. – Катайте, катайте его, Амалия Густавовна, а то он, пожалуй, хвастаться будет, что он тут нам, городским, страху задал.

– Я ему задам страху! Не на тех напал страху-то задавать!

– Вот уж это, девушка, напрасно ты так-то поговариваешь! – вступилась за дядю Петра старушонка одна, с чулком в руках. – Он тебе родитель...

– Молчи, старая дура! – прикрикнула на нее русская немка. – Почему ты знаешь, может, я ему родитель-то?..

Уселась старуха после этого окрика на дрова на самую солнечную припеку и, под визг мастерового железа, под гвалт комнат снебилью, под грохот экипажей и вообще под этот несмолкаемый стон столичной суеты, зашептала нескончаемую рацею о прошлых временах и о прошлых людях.

– Была сама такую-то! – говорила старуха, покачивая головой и побрякивая вязальными спицами. – Много соблазну здесь для нашей сестры: устоять никак невозможно; а все же,

бывало, когда отец али мать наедет, примешься, бывало, плакать; примешься на долю свою стыдную жаловаться и скорбеть... А ведь в нынешних стыда-то нет никакого. Ох, нет никакого стыда в нынешних людях!.. Срам!.. Все равно как дикие звери стали! Ни в бога веры, ни любви к людям!..

– Ваше благородие! Повестка к вам от господина квартального поручика, – пробасил Бжебжицкому усатый полицейский вестовой. – Извольте завтрашний день к десяти часам в контору пожаловать.

– Это зачем?

– А вот тут в повестке все аккуратно прописано.

– Дай сюда! – И Бжебжицкий стал читать: – «Сим приглашаю... по делу якобы о скандале, произведенном вами в квартире учителя, и проч. Также по жалобе солдатской дочери Афимьи»... Черт знает, что такое! За все, про все ныне в квартал зовут. Любезный! Скажи поручику, что, мол, прапорщик лежит на одре. Слышишь? Так и скажи.

– Слушаю-с! Счастливо оставаться, ваше благородие!

– Погоди-ка. Не знаешь ли жида какого-нибудь: денег бы мне у него занять под сохранную расписку.

– Не могу знать-с, ваше благородие! А ежели теперича серебро, золото али бы что из платья из хорошего, так мы сами иногда верным людям даем.

– Дурак! Я тебе сам дам под золото да под серебро, даром что ты неверный человек...

– Что это за проказник такой этот барин! – смеялась Татьяна из кухни. – На всякое слово у него завсегда ответ есть. Ежели бы он деньги платил как следует да не дрался, – цены не было бы этому барину!..

V

Глава, имевшая выло начертить легкую характеристику лиц, согнивающих в комнатах снебилью

Я тебя постараюсь как можно тише окрикнуть, бедный народ! Я спою про тебя, вечно ноющая, вечно голодающая птица комнат снебилью, настолько незлобивую песню, насколько незлобивых жизненных тем набралась в этих клетках моя собственная озлобленная голова.

О, мир вам, люди покоробленные, а чаще, как дуга, согнутые всеильною нуждой! Мир вашим снам, озлобленно тревожным, ногам вашим, вечно снующим и ничего не выхаживающим, всегдашней злобе вашей желаю я скорого угомона!..

Ибо злоба ваша – смерть ваша. А как тяжело умирать одному в мебелированных вертепах – одному, с одной только злостью своей даже и на этот день, который так светло пробивается в комнату сквозь грязно-желтую коленкоровую штору, на этот бойкий гул столичной жизни, неумолчно гудящий за стенами!

Предсмертному крику гаснущей, медленно истомленной жизни в кухонном углу где-то безучастно и отвратительно-крикливо вторит одна только Лукерья бессмысленно-фабричною песней про какого-то всадника, который будто бы

Кор-ми-ит ко-о-ня сы-ы-та-а,

Сам ест сухари.

Песня закончилась наконец, к общей потехе населения комнат, зазвонистою кучерскою трелью, а с нею вместе закончилась и жизнь, желавшая сейчас одного счастья – взглянуть на человеческое лицо, – закончилась скрежетом зубов, хрипом надсаженной груди и желтою пеной на посиневших губах. Исковерканная тою безобразно-ужасающей печатью, которую смерть, в довершение эффекта, кладет на изможденные тела бедняков, жизнь эта сейчас же, вместо последней молитвы, накликает на себя – тем только, что умерла она, что понесла отдать свое несносное бремя к Зовущему всех труждающихся и обремененных успокоиться в нем – целый поток бессмысленных ругательств и проклятий.

Пришла Татьяна, неумытая, заспанная, растрепанная; взяла она эту повисшую, весь свой короткий, но трудный век старавшуюся быть честною, руку и сказала:

– А окошел ведь... Лукерья! Беги скорее в фартал. Ах ты, голь перекатная! – добавила съемщица, поматывая головой, – кто теперича тебя, голь, в сырую землю схоронит?

Такие картины не настолько редки у нас, чтоб я не мог сказать про них правдивого слова, и сказал бы, если бы не боялся упреков в лиризме, без которого я решительно не могу ни поклоняться светлomu лицу природы – единственному совершенству на всей земле, ни скорбеть о людской гибели, а потому пусть пойдет другая глава.

VI

Наружный вид дома с меблированными комнатами

Трудно чему-нибудь быть своеобразно грязнее столичных домов, заваленных разными русскими мастерскими. Выстроенные спекуляцией на манер всех вообще столичных громад, то есть на манер большого квадратного сундука, они до жильцов некоторое, весьма недолгое время ничем не отличаются от своих соседей, составляющих вместе с ними длинную улицу. Но вот вниз переехало Экипажное заведение Трифона Рыкова, рядом с ним в двухкомнатной квартире поселился сапожный мастер Самсон Соловьев, в бельэтаже какая-то толстая баба с страшным рубцом на лбу, словно бы от сабельного удара, и с шестью молоденькими горничными; в подвальной квартире, через двор, – извозчикий содержатель и какие-то старые отставные солдаты, вечно дерущиеся на дворе и кричащие караул; третий, самый верхний, московский этаж гостеприимно принял в свои невыразимо воняющие приюты орду комнат снебилью. И вот через какие-нибудь полгода ярко набеленные стены нового дома покрываются копотью; штукатурка, хотя умышленно ее никто и никогда не ломал, обваливается и кажет по местам красные кирпичные раны; окна же, особенно в квартирах у извозчиков и отставных солдат, вместо стекол залепливаются синей сахарною бумагой; в комнатах снебилью и у толстой бабы с многочисленными горничными заставляются подушками в пестрых ситцевых наволочках, – и вообще весь дом, видимо новый и крепкий, сразу как будто проживает пятьдесят лет, и кажется, что какая-то враждебная сила беспрестанно раскачивает его, ломит и валит. Печальными такими и расслабленными замарашками смотрят эти дома, как-то особенно скоро вырастают в землю их фундаменты и скособочиваются, точно бы какой человек слабый, голова которого скривилась набок от

первой жизненной тукманки. Глядя на бессмысленную грусть и тупую озадаченность, постоянно рисующиеся на лице такого человека, непременно подумаешь, что вот сейчас подкосятся его дрожащие ноги, что из широко выпученных, но тусклых глаз польются обильные слезы, а отвислые губы безотвязно запросят пощады...

Вот довольно схожий портрет дома, в котором поселилась Татьяна с своими жильцами. При первом взгляде на его каменное, неподвижное лицо всякий легко убеждался, что здесь поселилась бедность, в большей части случаев поневоле неразборчивая на те средства, при помощи которых она с жалобами и слезами доволакивается до темной могилы, где навсегда укроются ее грязные отрепья и успокоится необходимо-грязная и темная жизнь.

Но не веселее наружности описанных домов и внутренность их, с теми обыкновенными историями про жизнь своих жильцов, которые будут, пожалуй, гораздо печальнее унылого лица дома, приютившего в стенах своих всякого рода несчастье. Слушайте же эти истории – и тогда для вас, может быть, очень сбыточною покажется та мысль, что оттого печален столичный дом, заселенный бездомным народом, что даже бездушному камню нельзя не скорбеть при виде разнообразных мук этих людей, которые, вследствие безалаберно сложившейся жизни, отовсюду проливным дождем сыплются на их бездольные головы.

VII

Коридор комнат и его жильцы

И рад бы сказать, что по этой залитой помоями, расшатанной и без церемонии завешанной разным бельем лестнице, которая вела в Татьянины комнаты снебилью, можно ходить людям, – но для этого нужно быть самым наглым лжецом. Хозяин знал, для кого он строил свой дом, и потому предоставил владимирским плотникам полную волю гондобить его, как господь бог положит им на сердце. И в то время, когда плотники орудовали, капитальная борода, изредка наезжая к ним с своим хозяйским глазом, говорила.

– Ничего, не взыщут! Место здесь такое, для всякой швали удобное. Лет через пяток, господь ежели благословит, окупится домишко, а тогда его можно будет подрумянить маненько, подпереть, пообмазать – и побоку. Дураков тоже много; а не найдется охотников, застраховать можно... История тоже известная...

Про длинный коридор комнат тоже не могу сказать ничего особенно приятного. Темен он был, как ад, а кобель Бжебжицкого и соседство кухни, пропитанной своеобразным запахом щей и Лукерьиной постели, покрытой ее шубой из кислой овчины, сделали его до того вонючим, что свежий человек ни под каким видом не выносил его духоты более пяти минут. Однако же были люди, которые сжились с этою темнотой и вонью до полного равнодушия к ним, и мое собственное мнение в этом случае таково, что всякий человек, конечно не без некоторых усилий, может скоро привыкнуть к этим вещам, если у него хватит денег на покупку какого-нибудь кофеинка с хлебом и не хватит на бутылку ждановской жидкости, могущей очистить его апартаменты от заразительных миазмов, так вредно действующих на человеческие нервы вообще.

Привыкли, говорю, люди к удобствам своего коридора так, что и слезы у них есть, когда изнасятся башмачонки, поистратятся в безработье припасенные про черный день деньжишки, и смех тоже довольно легко вылетает из их грудей, когда каким-нибудь свободным праздничным днем, после рюмочки и пшеничного пирога, придется вспомнить с какою-нибудь давнишней подругой про былые годы, когда жили при местах, у хороших хозяев, когда были молоды лица и беззаботны души...

Все в этом коридоре одни только женщины жили. Сосчитать, сколько их там именно, узнать, что они платят за квартиру, чем живут, – не было никакой возможности. Видели только более или менее состоятельные жильцы, жившие в комнатах, что кишит что-то в коридоре безразличное и живое, – раскатываются в нем какие-то переменные волны, а какие именно – не знали и, конечно, не хотели знать, потому что не нужно было. Волны эти обыкновенно вливались в Татьянин коридор таким образом: живет-живет, бывало, какая-нибудь горемычная в почетных экономках у богатого холостяка так долго, что оба они в этом сожительстве половину зубов потеряют, разнообразя свою жизнь редким, а может быть, и частым погрызванием друг друга, и поседеть тоже оба успеют. Привыкнет экономка к достатку, к хорошей комнате, к сладкой пище – и вдруг старичина нежданно-негаданно протягивает, как говорится, резвые ноги. Дальние родные великодушно подарили экономке старый салоп на беличьих лапках, да сама она успела фунтик-другой серебреца столового ухватить – и переехала к Татьяне в самую дешевую комнату.

– По одежке протягивай ножки! – говорила вдова, размещаясь в своем новом жилье. Надеяться теперь не на кого, а между тем привыкшая к куску губа нет-нет да и спросит либо супца с хорошей, настоящей, как в старину бывало, говядиной, либо чайку внакладочку, либо винца красненького, которого до тошноты захотелось бабенке, с утра до вечера молчаливо размышляющей о привольной жизни при покойнике, – и вот серебро, ложка за ложкой, безвозвратно улетает в укладистые сундуки соседки-еврейки, а в конце концов случается обыкновенно то, что Татьяна, разнюхавшая, что жилища прогорела, благоразумно выпроваживает ее на жительство в коридор.

Часто также приходили к Татьяне молодые знакомые девицы с такими разговорами:

– Что теперь делать мне, милая Татьяна Ликсеевна? Ума не приложу.

– Что такое, что такое у тебя случилось? – спрашивает Татьяна Ликсеевна встревоженную девицу.

– Да что? Обобрал меня до нитки варвар-то мой. Уж он меня бил-бил, обобрамши-то, и говорит: теперь извольте идти, мамзель, куда вам угодно. Смеется, разбойник! Косу-то мне, злодей, всю повыдергал. Хочу в фартал идти; знакомые у меня там есть: защитят, может...

– Да за что же это он тебя? – осведомляется любопытная Татьяна. – Ведь вы допрежь дружно живали.

– Да за что? – откровенничает девица. – Ни сном, ни духом не знаю за что... Точно что по лету я как-то раза с три езжала в лагери к брату двоюродному (писарем при самом генерале вот уж сколько лет служит). Ему и помстилось; а я разве таковская?.. Сама небось знаешь, как я на своем слове завсегда стою. И довольно даже того, что я с ним который год живу, а он ревновать вздумал!..

– Что говорить! Что говорить! Экой безобразник какой! А я все говорю про него: вот, мол, смиренник-то полубовник Грунин, – а он поди-ка какой! Как же ты теперь? Где жить-то покелича станешь?

– Да то-то не знаю. Ты мне, пожалуйста, каморочку отведи какую-нибудь, покуда с делами не справлюсь.

– Каморки-то у меня, девушка, нет теперь. Вчерась последнюю студент занял какой-то. Как бы знала, ни за что бы не отдала. Так уж и пустила, чтобы только не пустовала. Ты вот в коридорчике покелича на моем сундуке поместись. Чудесно тут нам будет с тобой. Без переводу тут у нас чай с кофеями пойдут.

Вследствие такого дружеского предложения молодая девица поселяется в коридоре, и долго

ее рассказы про вырванную варваром косу и про двоюродного брата, генеральского писаря, развлекают однообразную жизнь темного жилья. Живет девица в коридоре и высматривает из его непроглядной темноты другого варвара, который бы вырвал ей вновь выращенную косу; точно так же и сожительницы ее, кухарки и горничные, как они про себя говорят – «без местов», живут так и высматривают себе местечки, с которых, по недолгом житии, снова погонят их с их унылым скарбом в Татьянины комнаты, где по случаю таких событий раздадутся, конечно, новые речи про новых хозяев, про новых людей, посещавших их, которые, по рассказам этого белорабочего люда, все будто бы без исключения мошенники, жидоморы, идола, черти, подхалимы и т. д.

Отчего это принято называть такие кухарочные определения глупыми сплетнями, не стоящими внимания порядочного человека, а не истиной? Этот вопрос случайно зародился в моей голове, и, конечно, когда-нибудь так же случайно я разрешу его; а теперь скажу, что из всей этой безразличной коридорной толпы рельефнее даже самой Татьяны выступал некоторый субъект, известный в комнатах снебилью под именем Александрюшки. Еще в то время, когда Татьяна только что осматривала квартиру, занимаемую ею в настоящую минуту, Александрюшка сидела уже в коридоре у двери и вязала длинный шерстяной чулок, сморщенная и серьезная до полной неподвижности, в ситцевом линючем платье, с медными очками на большом носу, изображая собой как бы какого заколдованного сторожа, приставленного сторожить пустую квартиру.

От квартиры, в то время только что отделанной, несло сырым лесом, клеем и масляными красками. Нога человека не была еще в ней после печника, который, закончивши свою работу порядочную выпиванцией с одной соседней кухаркой, ушел и не возвращался даже и тогда, когда хозяин искал его для поправки печей, дымивших, как жерло ада, и потому дворник, рекомендовавший Татьяне прелести фатеры, по его словам, «за первый сорт», был справедливо удивлен этою старухой, безмолвно позвякивавшей спицами и неразборчиво шептавшей что-то своими тонкими, высохшими губами.

– Бабушка! Кто это тебя сюда пустил? – спросил дворник старуху; но старуха уперла в него своими светлыми очами, помахала головой, как будто удивляясь тому, что дворник не знает человека, устроившего ее в коридоре, и только. – Что же ты не говоришь? Ай немая? Говори! Хозяин, што ли, пустил? – расталкивал уже дворник молчаливое существо.

– Ты вот что, дворник, – прошептала наконец таинственная незнакомка, – ты не толкайся. Я губернская секретарша!

– Полно балы-то точить! – сердился дворник. – Сказывай: по чьему ты приказу здесь поселилась?

– И ты не смей мне говорить, мужлан! Я сказала тебе, кто я такая. – И барыня при этих словах энергично оттолкнула от себя заскорюзлую дворницкую руку.

– А, так ты такая-то! Ты толкаться еще в чужой фатере вздумала! Сказывай: кто тебе приказал жить здесь?

– Бог! – удовлетворила наконец любопытного дворника губернская секретарша.

– Что ты с ней будешь делать? – спросил дворник уже у Татьяны с какою-то снисходительною полуулыбкой. – Надо, верно, в фартал идти объявить.

Губернская секретарша не обратила ни малейшего внимания на роковое слово «фартал» и по-прежнему продолжала звякать спицами, мотать головой и шептать что-то – должно быть, про свои одному богу только известные дела.

Квартальный пришел – и добился столько же, сколько и дворник.

– Как вы сюда попали? – спрашивал у старухи надзиратель.

– А так и попала... – отвечала она с видимым неудовольствием. – Как попадают-то, разве не знаешь?

– Говорите, кто вы такие? Давайте ваши документы.

– Молод еще документы-то спрашивать! Начальник какой выискался! Молоко-то на губах обсохло ли?

Доложили об этом происшествии хозяину. Тот пришел и долго стоял перед старухой, поглаживая бороду в великой задумчивости и по временам ослабляясь. Самовольная постоялка тоже ничего не говорила и даже ни разу не взглянула на него, сосредоточенно уткнувшись в свой чулок. Наконец хозяин сказал дворнику:

– Бог с ей, Трофим, не трожь ее. Человек, видно, не простой, потому большим сурьезом и молчаливостью от бога награжен...

– А как же, хозяин, – вступилась было Татьяна, – мне-то с ней быть? Ведь уж платежа от ней не добьешься, а я бы на ее место всегда нашла жилицу с капиталом...

Тут хозяин почти так же серьезно, как и Александрушка, сморщил свои черные брови и внушительно заговорил:

– Мне, – говорит, – милая ты женщина, пребывание в моем доме прозорливого человека не в пример твоей платы дороже. Может, она нечестия твоего ради наслана вон откуда... – и при этом хозяин торжественно указал на потолок. – Так-то. Потому так, милая женщина, рассуждаю я про тебя, что допрежь тебя ни в одном моем доме таких историй никогда не было, хотя точно-что благочестивые люди помногу и подолгу у меня пребывают...

Опять же и солдатка ты: всякому греху, значит, ты больше нашего брата причастна. Следовательно, для одной тебя энто устроено, и ты должна все эфто понимать и ценить...

– Так вы, ваше степенство, скинули бы мне за нее хоть полтинничек в месяц за фатеру. Вы люди богатые.

– Это так, достаток имеем; только с фатеры единой даже копейки скостить не могу, потому так уже положено ходить ей по тридцати серебром; щепочек вон, коли хочешь, что от построек осталось, возьми охачку-другую. Просим прощенья, милая женщина! Жить вам, да поживать, да добра наживать! – закончила борода, отпавляясь восвояси.

– Жидомор, черт!.. – шептала вслед ему Татьяна; после чего губернская секретарша безвозбранно поселилась в комнатах снебилью, оплачивая свое завоеванное помещение и кусок хлеба своим неутомимым рвением служить даже слуге всех – Лукерье – и готовностью во всякое время дня и ночи сердито побранить какого-нибудь подкутившего жильца, утешить Татьяну в каком-нибудь несчастье, истолковать ей мудреный сон, виденный в прошлую ночь, и проч.

Терпеливо и ни минуту не меняя своего сердитого лица, исполняет заштатная чиновница свои многочисленные роли, так что в непродолжительном времени ее полоумная манера неизменно и во всем угождать всякому человеку, но угождать как бы из-под палки, что называется, «срыву», сделала ее тем не менее любимицей и темного коридора, и светлых комнат, так что стала барыня совершенно необходимою вещью в обоих местах, в одно слово нареченною и благородными комнатными жильцами, и коридорными плебейками ласкающим именем «чиновницы Александрушки».

Без таких Александрушек в Москве обходится редкий дом. Это чрезвычайно своеобразное

русское горе, гнездящееся в различных Тулах, Нижних и прочих жирных городах, которые приучают его с целью потешиться им на досуге тою потехой, которую доставляют им бодливые, но не имеющие рог коровы... Характеризуется это горе своими земляками и, так сказать, пристанодержателями знаменательным словом: тронумшись маненько; а я лично думаю, что оно – обозлимшись, и обозлимшись не маненечко, а очинно. По последним штрихам, которыми я имею закончить Александрушку, весьма легко рассудить, каким именем лучше назвать коренную жилицу комнат снебилью.

Во весь голос, без всякой помехи, задувает, бывало, Лукерья на кухне, примерно хоть про то, как некто «вечор был на почтовом дворе» и как этот некто на том дворе на почтовом «получил от девицы письмо». Раздолье полное звонкому бабьему голосу, потому что день выгнал всех комнатных жильцов на добычу; коридорный люд тоже разбрелся кое-куда по своим мизерным делишкам, – и во всем этом пустынном сарае осталась только домоседничать Лукерьяна песня да Александрушка.

В виде какой-то толстой, пегой змеи ворочается на коленях у убогой чиновницы ее всегдашний, непокидаемый друг – шерстяной чулок, тихо звякают и шелестят ее вязальные спицы, а сама она, не развлекаемая многообразными комиссиями, которыми со всех сторон засыпали ее жильцы комнатные и коридорные, когда бывали дома, долгое время, по своему обыкновению, молчаливо и неподвижно сидит около самой двери и как будто старается подслушать, о чем именно шепчутся с этим неповоротливым чулком ее тонкие проворные спицы. Сидит, говорю, и ни слова; только головою, поистине обутою в какой-то чепец с уродливыми фалбарами, из стороны в сторону раскачивает. А между тем по лицу ее проходят в эти минуты глубокие морщины, налегают какие-то мрачные, выражающие крайнее страдание тени, так что Лукерья, случайно прошедши мимо Александрушки, непременно произносит:

– Ну, начинается комедь. Подступило! И действительно, комедь начинается.

– Что такое? – сердито и громко спрашивает Александрушка у своих спиц. – Мало ли по белу свету всяких злых дел делается, мало ли разной неправды по земле ходит? Что же мне за дело? Батюшка с матушкой учили: не осуждай. Ну и не буду, да! Молчишь – не грешишь, и спишь – не грешишь.

Эти растолковывания всегда перекрикивали горластую Лукерью песню. Полная тишина воцарялась тогда в комнатах снебилью; только один кот тихо мурлыкал, ластясь к ногам Александрушки, да сама Лукерья, опершись о косяк кухонной двери, пристально смотрела на человека с загогулиной в голове и по временам с видимым, впрочем, ужасом спрашивала:

– А ну-ка, Александрушка, про мою судьбу что-нибудь, расскажи!

– Что же такое, что у нее каменный дом? – отвечала больная при вопросе Лукерьи о ее судьбе. – Кабы тогда я глупа не была, он бы и теперь, дом-то, мой был. Да! Я ей тогда сказала: «Сестрица! Ты замуж хочешь, за богатого хочешь? Выходи – вот тебе мой дом. Тебя с ним богатый возьмет, только ты меня не покинь, когда мне что понадобится». Вот она и не покинула... Ха-ха-ха-ха! А, сестра! Ах, черти! Грех, грех ругаться-то, Александра Семеновна! Перекрестись, милая.

– Ишь ведь, как чешет она правду-то матку! – ужасалась Лукерья, относя все эти слова к своей особе. – Как она самое-то нутро мое до тонкости разбирает – страсть! Брех-баба я, грешница, каюсь! И за дело и без дела со всяким грызться готова... Теперь сокращусь, попристальной стану богу молиться. Только к чему же она это про каменный дом заводила?..

– А был бы, был бы дом и теперь мой! – все с большим и большим неудовольствием толковала Александрушка. – А может бы, его пожаром спалило, сквозь землю бы провалился или бы как-нибудь меня, дуру, им чужие добрые люди надули. Все может. Много, я говорю, по

белу свету всякого несчастья расхаживает, – ох, как много! И несчастья и неправды... Я вот теперь испокон веку всем помогала да угождала, а меня все вон выгнали, лицо-то мне все заплевали. А за что? Ну-ка, скажи, за что? – усиленно спрашивает больная, воззрясь в свой чулок и спицы.

– А уж это так, Александра Семеновна! – жалобно ответила ей Лукерья, опять-таки воображая, что это угодный господу человек про ее жисть обиняком разговаривает. – Это уж, Александра Семеновна, моя должность такая разнесчастливая. Жалованья-то мало, а наругательств всяких вволю на этих местах принимаешься...

– Где бишь у меня сын? – вдруг спросила старуха и при этом вопросе даже отняла глаза от чулка и подняла их кверху. – Какой это у меня сын был, никак я не вспомню? Что это он у меня, словно бы офицер был или бы девицей он был? Нет, это дочь-девица у меня была; а он офицер был, точно! Добрый был, красивый, верхом на коне, я помню, ездил он, денег давал мне...

Тут окончательно уже пришла в себя Александрушка при воспоминании о сыне и хриплым голосом на всю комнату заплакала:

– Ви-и-ктурушка! Го-о-лубчик мой! Все-то меня без тебя бьют, все обижают!..

– Ну, уж теперь про себя пошла, – проговорила Лукерья, уходя в кухню. – Жаль, раньше ты не пришел: такие тут сейчас Александрушка истории городила – забава! Теперь опомнилась, об сыне голосить принялась, – рекомендовала кухарка Александрушкину печаль одному знакомому солдатику, который пришел потолковать с ней безделицу до тех пор, пока хозяйка с рынка не приволокется (черт ее облупи совсем, толстую шельму! Всегда, как увидит, орет: зачем, говорит, крупа, к моей кухарке шатаешься? У меня, говорит, благородные господа живут).

– Черти вы, идола! – орала Татьяна, до красноты упаренная полупудовую порцией говядины, которую она притащила с рынка. – Кричала-кричала, чтобы двери отворили, – хоть бы собака какая бешеная отозвалась. Ну, это сумасшедшая заговорится с собой, не слышит; а ты-то здесь каких чертей собирала? – спрашивала сердитая съемщица у Лукерьи.

– Здравия желаю, Татьяна Ликсеевна! – ласково раскланивался солдат, пряча за обшлаг шинели только что закуренную трубочку.

– Надымил уж тут табачищем-то своим! – взъелась на него Татьяна. – Ведь с него собаки чихают, а ты господские хоромы им сквернишь. И зачем только ты, крупа, к моей кухарке шатаешься? – повторила она свою обыкновенную фразу, на которую солдат никогда не мог отвечать сколько-нибудь удовлетворительно. – Ох, делать-то вам нечего!.. Ужо тебя барин какой-нибудь протолкает отсюда.

Не выдержал наконец солдатик нападков съемщицы и заговорил:

– Хоть я теперича, Татьяна Ликсеевна, и солдат, только никому обижать себя не позволю, потому не та наша линия... Так-то! А что теперь касательно, что я к Лукерье пришел, она мне в сродстве, и вы ей сродников своих запретить впускать не имеете права, потому не к вам я пришел.

Энергичнее этой оппозиции, выставленной солдатиком Татьяниной руготне, никогда еще не видывал темный коридор, хотя, надо правду сказать, точно так же он никогда и не слышал более зычного окрика, который задала в это время Татьяна солдату за эту оппозицию. Остальной коридорный народ был до того бесцветен и снослив, что хозяйке на него и покричать-то как следует не удавалось, потому что все ее самые татарские желания, без малейшего даже помысла о противоречии, в ту же минуту исполнялись этим народом.

– Смолчи уж лучше, – советовали друг другу коридорные, когда кто-нибудь из них осмеливался возражать лютующей бабе. – Разозлится, на мороз выкинет, тебе же тогда хуже будет.

Немножко не таковы были жильцы комнатные.

VIII

Жильцы комнатные, или господа

Описанный коридор разделял комнаты снебилью на две половины, в каждой по четыре каморки, величаемых Татьяною громким именем номеров. Одна половина своими окнами была обращена па улицу, другая на двор. В одной из лучших комнат, смотревшей на улицу, в качестве человека, происходившего от старинных польских магнатов, жил прапорщик Бжебжицкий.

– Да! Я таки привык к некоторому комфорту, – говаривал сей обрусевший сармат[7], закладывая зимой пальто для того примерно, чтобы купить ничтожный коврик, по двугривенному за аршин, к изодранному дивану, на котором он спал.

– В чем же вы теперь ходить будете? – спросит кто-нибудь у прапорщика в то время, когда он производит свою спекуляцию.

– Есть мне время рассчитывать, как и в чем ходить я буду, – обыкновенно отвечал он. – Подите спросите у Александрюшки, в чем она будет ходить. В том же самом и я ходить буду. Рекомендую ее вам как самый лучший образец для всевозможных подражаний, – прибавлял Бжебжицкий, когда у него заходил с кем-нибудь из сожителей спор о каком-нибудь трудном вопросе жизни.

– А все это меня Москва к таким роскошам приучила, – откровенничал Бжебжицкий с жидом, принимавшим у него пальто, в надежде расположить своим добрым обхождением израильтянина к тому, чтоб он взял с него в месяц пять процентов, а не десять, как обыкновенно взимают израильтяне. – То есть ты не поверишь, Барадка, – убаюкивал воин наишельмейшего жида, – такими она меня суммами заваливала, теперь даже и подумать о них грешно. А сама какая была! Ежели я тебе ее портрет покажу, так ты в полное неистовство придешь...

Но жид своими черными бесстрастными глазами в одно и то же время осматривал и прапорщиные пальто, и самого прапорщика до того насмешливо и вместе с тем почтительно, что даже самая окрыленная надежда заставить его что-нибудь вскрикнуть при взгляде на портрет московской купчихи становилась в тупик; однако же Бжебжицкий, как нельзя больше знакомый с этим взглядом, все-таки продолжал:

– Ишааком, Иаковом и Ижраилем клянусь, что ты, Барадка, непременно вскрикнешь: «Пане мой великий! Пане мой, ух какой ясновельмозный! Дайте мне эту купчиху миррой и вином напоить». Так-то, скверная ты тварь, жид ты, христопродавец, анафема! Вот я из-за чего мое пальто закладываю: из-за купчихи собственно, потому что нынешний день предстоит мне случай возобновить с ней прерванное знакомство. Так ты обстоятельство это и чувствуй всем своим носом жидовским.

Затем шла уже Барадкина речь.

– Ах, пане мой! – говорит Барадка. – Как же вы хоросо так по-насеми науцились. Долго, должно

быть, в Полсе вы зыли, много, должно быть, вы насему брату своих барских вещей прозакладывали...

И все-таки вместо того, чтобы дать прапорщику под его пальто шесть рублей, жид давал ему почему-то десять, а процентов брал только восемь. Таким образом вел прапорщик свои делишки.

Все они у него состояли из закладов и перезакладов и постоянных стремлений ухватить где-нибудь в магазине или лавке, распродающегося вследствие некоторых коммерческих обстоятельств, по неимоверно дешевым ценам, – хватить, говорю, товару какого-нибудь, под заемное письмо, сотняги эдак, канальство, на две, на три и потом бакнуть этот товарец, по крайности, за бумажку со столбиками. В последнее время стремления эти осуществлялись как-то с каждым днем все реже и реже.

– Чем ближе к гробу, – говаривал Бжебжицкий, – тем как-то несмысленнее делаешься. Ныне нет уж той прозорливости, которая постоянно отличала столь эффектно бунтовавшую юность мою. Или уж народ, то есть что называется массой-то, измощенничался, испрогрессировался, то есть ходишь-ходишь около него с целями добыть от него свои благородные средства – и ничем-то ты его не объедешь. Сама эта масса в нынешние голодные времена каждую минуту диким зверем рычит, потому что запрос на хлеб изо всякого рта здоровый идет, и тишины этой безмятежной, которою добрая старина отличалась, даже и в провинции не найдешь. Д-да-с!

Никогда, даже и в те моменты, когда Бжебжицкий находился на взводе и, следовательно, судя по-общечеловечески, в большем или меньшем расположении к откровенности, нельзя было добиться от него, кто он, откуда появился в столице и чем именно занимается в ней. Рекомендую же я его за прапорщика на том единственно основании, что это было последнее его показание, которому почти никто не верил, потому что за несколько лет назад Бжебжицкого нередко видали в Москве и под голубым околышем, и в аксельбантах ученого офицера, в костюме штатского фешенебля[8] с заливающей всю улицу своим ароматом сигарой во рту, и в жалких отрешках столичного пролетария – не с папироской даже, а просто-напросто с бумажным крючком, набитым тютюном где-нибудь на Цветном бульваре, или у будки дружелюбно вспоминающим с часовым про красоту родимой саратовской степи, где в одной деревушке у часового, как слышно было из разговоров, проживала старая мать, а у Бжебжицкого в другой, соседней деревушке находилось будто бы имение, отнятое во время его сиротства некоторым старым дядей, отъявленным мерзавцем и шельмой.

Видали, повторяю, люди, как прапорщик заговаривал, как говорится, зубы бутырям с целью, воскресивши в их памяти родные и весело-зеленые поля и родные же, но чеоные и печальные избы, получить некоторым образом приглашение войти в теплую будку, обогреться и покалякать; а дальше Бжебжицкий умел уже, как он сам про себя говорил, держать фортуна за хвост, – дальше в будку приходила какая-нибудь Матрена из соседнего дома, вынимала эта Матрена из своих карманов полфунтика сахарку, полтора золотника чаю и становила самовар. Под его приятное шипенье Бжебжицкий заводил нескончаемый рассказ про свою сиротскую, бедственную жизнь, за что, конечно, получал хотя и косвенное вознаграждение в виде этого угостительного чая и мягкого полубелого хлеба, которые так приятно ложатся на начинающий уже мертветь желудок. А ночь между тем – эта темная, с холодным, постоянно морозящим дождем, осенняя ночь – все идет да идет вместе с этим печальным рассказом про непрестанный голод и холод, про необходимость не унывать в такие времена, про разные веселые шутки, которыми, в свою очередь, молодцеватый бедняк отражал нашествие на него грозной нищеты; а простой народ с каждой минутой все внимательнее и внимательнее слушает этот рассказ и все любовнее и любовнее потчует занимательного гостя.

– Вы вот что, ваше благородие, – говорит наконец будочник, окончательно завоеванный

барским рассказом, – вы подождите на минуту говорить. Я вот по соседству в кабачок сбегаю, полштофика да селедочки захвачу. Заодно уж. Кстати взгляну, дежурный не идет ли.

– Ах, барин, барин! – задумчиво и печально произносит Матрена, смотря на гостя. – То-то, погляжу я на тебя, горя-то на своем веку много ты нахлебался!

– Вволю хлебнул всего: и горя и радости, мать ты моя! Ведь вот теперь, признаться сказать, не по моей бы губе ваш чай, не привык я пить такого, однако же пью, и сроду, кажется, сласти такой не видал. Вот до чего голоден!

– О, о-хо-хо, – простонала Матрена. – А мы, грешные, все-то завидуем господам, все-то мы думаем, что у них горя-то и в помине нет.

– Как же! Больше вашего еще. Ты не гляди, что они сладко едят да одеваются чисто. Ты вот, например, сошла с места, нет у тебя квартиры, нет денег, так ты в любом месте у своего брата ночевать за Христа ради выпросишься, а барину-то стыдно христарадничать. Вот я которую ночь на улице сплю...

– Барин хороший, да ты ноне-то хошь у моего в будке переночуй; все же теплее. Отдохнешь, по крайности...

Умел Бжебжицкий толковать со всякого рода бедностью, и она его и он ее до слова понимали.

– Я теперь ничего не боюсь, – говаривал прапорщик, – ко всему привык и у самого даже бедного человека, что бы только ни захотел, все могу выпросить. Опять же и устроился я чудесно: всякое место для меня хорошо, и скверных случайностей не существует.

Говорит это прапорщик, а сам (беззаботный такой!) сидит на своем изорванном диване и болтает ногами. Его апартамент смотрел тогда тоже как-то особенно беззаботно, словно бы это был не человеческий апартамент, а птичье гнездо, оставленное своими первоначальными хозяевами и служащее теперь местом отдыха и ночлега для разных перелетных птиц. Его пустота не страшила собой даже непривычных, посторонних глаз. Три легкие соломенные стула, ломберный стол, за отсутствием надлежащего количества ног прислоненный к стене, этажерка с пылью и гравированное изображение какой-то красноватой и пухлой женщины с надписью: «L'innocence»[9], – бог весть кем и когда повешенное на стену, оклеенную разводистыми обоями, – все это вместе с прапорщиком как будто сейчас же готово было вскочить на никогда не устающие ноги и бежать за благородными жизненными средствами в первую лавку, где, по слухам, удобно было прихватить кое-что по мелочи? *bon credit*[10]. Готово все это было, сказываю, без усталости бегать по лавкам, по жидкам и по русским ростовщикам и ростовщицам – остепенившимся бабешкам, с целью отыскания у этого люда кредита, – прыгать и весело хохотать, ежели находилась таковой кредит, и, не задумываясь, не печалась, равнодушно расстановиться по прежним местам, ежели борода, так сказать, выметала из лавки прапорщика, а жидки и остепенившиеся бабешки просили у него какого-нибудь ценного залога.

Говоря вообще, из всего того, что обставляло темную жизнь Бжебжицкого, только один черный кобель его был невозмутимо солиден и серьезен, каковое, впрочем, кобелиное качество несколько не делало прапорщика заботливее, а, напротив, подавало ему нескончаемые поводы к разным шуткам, которые обыкновенно смешили большую часть нахмуренных жильцов комнат снебилью.

– Господа! – часто крикивал Бжебжицкий через стену своим соседям. – Идите ко мне, кто, как говорят хохлы, хочет позакусить трохи. Цампа будет за нас философствовать, а мы, как говорят русские мужики, клюнем безделицу.

Штука эта, когда униженные и оскорбленные соседи Бжебжицкого, вняв его предложению клянуть, предоставивши философию исключительно на долю Цампы, – по крайней мере в моих глазах, – исполнена глубочайшего интереса. О том, с каким бешеным остервенением предается выпивке физически и нравственно исстрадавшаяся бедность, можно судить по следующему, совершенно справедливому анекдоту. У меня был один приятель, тоже из мира комнат снебилью, теперь старик уже, – башка, бывшая некогда при самом Денисе[11] штаб-ротмистром, угорелый пафос которой простерся в былые годы до того, что, раззадоренная однажды лихою песней бессмертного в летописях московских кутил цыгана Илюшки, она бросила ему семьдесят тысяч по тогдашнему счету на ассигнации, а сама осталась в одном раззолоченном мундире, при светлой сабли полосе и с пол-аршинными усами...

– Старичина! – спросил я однажды у этой башки, когда мы были с ней в гостях у двух братьев, степных помещиков, приехавших в Москву просадить четыре тысячки рублишек, по нынешним уже счетам – на серебро. – Старичина! – сказал я, – какие бесы помогают тебе вырезать такие страшные стаканищи?

– А это, – ответил старичище, улыбаясь и покручивая свою сивую растительность, – это, – говорит, – братец ты мой, мне не бесы помогают, а сугубое представление, что завтрашний день на моем столе не только этой благодати не будет, а даже и рюмочки простой коковщины[12]...

Вот что мне сказал проерыжничавшийся старичина, и, следовательно, бог с ней, с этой бедностью, когда она обжирается за чужим столом, и даже бог с ней и тогда, когда она опивается на чужие деньги, ибо и бедность, по моим теориям, есть не что иное, как живой человек, который, по пословице, хочет калачика, как и всякая живая душа.

Готовее всех и, следовательно, прежде всех являлся на закуску к прапорщику некто Сафон Фомич Милушкин – личность, принадлежавшая в дни своего младенчества к какому-то мудреному старообрядческому согласию. Это был маленький, с красноватым лицом, человек, вечно думающий о чем-то, робкий и как будто однажды и навсегда испуганный какою-то страстью. В комнатах снебилью он прославился своею, так сказать, пламенной любовью к выпивке, отличным умением петь в подпитии разные старинные псалмы и поистине поэтическими рассказами о своей прошлой жизни, о пугающей среде, в которой она началась, и о тех совершенно невероятных причинах, вследствие которых Сафон Фомич разорвал всякую связь с этой средой.

Когда Милушкин находился в трезвом виде, самый искусный дипломат не мог бы добиться от него ни одного слова. Бывало, какой-нибудь фронт, наскучивши свистать и маршировать по своей трехаршинной келье, придет к Сафону Фомичу, сядет около него и начнет:

– Ну что, Сафон, как дела? Что ты намерен теперь делать?

Сафон молчаливо переходил от фронта на другой стул и принимался молчать, если можно так выразиться, еще усиленнее и как бы озлобленнее.

– Что же ты ничего не говоришь? Я пришел к тебе, братец, по душе потолковать. Слышал я вчера, что лекции по винокурению будут читать. Вот бы тебе чудесно послушать курс и на место устроиться в акциз[13], а? Откупа-то теперь побоку скоро. Слышал небойсь?

– Н-ну, д-да! – сквозь зубы процеживал Милушкин.

– Право, попробовал бы, – продолжал приятель. – Взял бы ты, братец ты мой, билет на эти лекции...

Сафон Фомич в сильном негодовании обыкновенно тряс в это время своими длинными

волосами, как бы сбрасывая с своей головы ненавистный билет на винокурные лекции.

– Да что ты головой-то трясешь, шут ты этакой? Тебе же добра желаю: места, говорят, отличные, оклады большие.

– Да отвяжись ты от меня, Христа ради! – как-то болезненно и вместе с тем азартно вскрикивал Милушкин, и ежели приятель не унимался и после этого крика, он уходил со двора и пропадал нередко на целые сутки.

Но выпивал Сафон Фомич – и совершенно менялся. При одном только взгляде на полуштоф лицо его принимало какое-то плачущее выражение; какая-то мука ложилась на него, вследствие которой Милушкин принимался тяжело вздыхать и крутить головою и наконец уже выпивал, после чего неукоснительно громко стучал по столу и скорбно морщился. И достоверно известно, что в Сафоне Фомиче эти приемы были вовсе не заранее придуманным манером с целью посмеять и амфитриона[14] и компанию, а просто какою-то необходимой мистерией, без которой выпивка не имела бы для него никакой цены.

– Для чего ты морщишься, Сафон? – спрашивали у него собеседники, зная, что Сафон на взводе и что, следовательно, как все шутили на его счет, находится в полнейшей возможности разъяснить причину всех причин.

– Сгу-у-била она меня, чер-рт ее побери! – отвечал Сафон, указывая на водку. – Гибель она моя! Вот отчего я морщусь, потому мука... Хочу совладать с ней и не могу; я от немощи этой страдаю...

Предстоявшие раздражались громким хохотом, а Сафон с скрежетом зубов наливал еще рюмку, с злостью выпивал и приговаривал: «О, чтоб тебя черт взял, проклятое зелье! Не было бы тебя, так и горя у меня не было бы никакого!»

После двух рюмок Сафон Фомич обыкновенно начинал, по выражению Татьяны, комедь про свою злосчастную жизнь. И хозяйка комнат, и кухарка даже лезли тогда к Милушкину с своими шутками, упрашивая его рассказать им что-нибудь поинтереснее, и Милушкин беспрекословно разговаривал с ними, примерно в таком роде:

– И вам рассказать что-нибудь? – спрашивал он их, по своему обыкновению вихляясь и как-то отчаянно покручивая победною головою. – Извольте, Татьяна Алексеевна! Извольте, Лукерья Онисимовна! Удовлетворю и вас. Примерно какая теперь разница, спрошу я вас, между мною и вами? Вы обе – дубовые отрубки, и я, по-настоящему, должен бы быть дубовым же отрубком. Идол! – гремел старовер на Татьяну, – ты так и осталась дубом на всю жизнь, а я, на мое всегдашнее горе, в животное превратился – в живое животное, которое во все места каждая рука бьет, и оно это чувствует, а ты, ежели тебе даже и в рожу съездить, ты этого не почувствуешь, потому корой ты обросла столетней.

– Черт знает что! Как же это не почувствую, когда меня бить будут? – отшучивалась Татьяна, видимо, однако, робея начинавшего уже восторгаться Сафона Фомича.

– Да уж я тебе врать не стану. Ты слушай меня, дура безмерная! Понимаешь ли ты, что соврать, как ты, например, ежесекундно врешь, я не могу, как не могу не умереть когда-нибудь. И потому я тебе говорю: ты дубовый отрубок, которому легко жить, а мне тяжело.

– Ну, – говорил кто-нибудь из жильцов, – наслушается теперь Татьяна староверческих отвлеченностей!

Между тем сама Татьяна, слушая эти отвлеченности, пугливо хихикала над ними, как говорится, в сторону.

– Так-то, Татьяна Алексеевна! Ты вот как думаешь, что я здесь делаю, живучи у тебя? Ты ведь, знаю я, полагаешь, что я ничего не делаю, а так вот себе, баклуши бью!

– Как можно, Сафон Фомич, ничего не делать? – говорила Татьяна с стыдливой и старающеюся быть почтительной улыбкой, – все что-нибудь по своим делам орудуете, я только, признаться сказать, не знаю что.

– Вот я тебе сейчас скажу, чем именно я у тебя орудую здесь, – вызывался Милушкин. – Я, милая ты моя, наблюдаю, есть ли в Москве человек, которому бы жить на этом свете хуже меня было. Вот что я делаю! Наблюдаю – и не нахожу и скорблю душой от зависти, что все люди – как люди, а я – ни богу свеча, ни черту кочерга. Ты и то лучше меня. Изобью я тебя сейчас за это, баб-нища дурацкая. Всякому злу ты причина, всякому доброму начинанию гибель.

– Эй, Сафон! Опомнись, любезный! – уговаривали его соседи, выбежавшие на крик Татьяны, которую несчастный начинал уже поталкивать. – Поди лучше выпей, мы за водкой послали.

– Любезное дело! – соглашался Сафон. – Дурак я, вздумал с бабой раздабарывать! Плевать нужно на баб всегда, а не раздабарывать. Пьем?

К-кому повем печ-ча-аль мою?

К-ко-о-го призову к рыданию? —

обыкновенно запевал Сафон Фомич, когда начинал, как говорится, заговариваться. Всякий, кто только не ленился, мог сделать из него в это время своего шута.

– Ну, Сафон, – приставали к нему тогда со всех сторон, – расскажи, пожалуйста, как ты попал сюда, зачем и почему?

– Можно! – кричал Сафон. – Знаю, что вы смеетесь надо мной, бестии, а я расскажу – в поученье ваше общее расскажу. Слушайте: родился я там, где-то у черта на куличках; верстам отсюда до тех мест счёту нет, только все эти версты я собственными моими ногами измерил, и все они – эти, то есть, ноги мои – и теперь еще от той меры долгой кровью сочатся... Ноют и визжат они у меня в тысячу больше, чем вы ноете и визжите, когда вам Татьяна жрать не дает по неделе... Так-то!.. Что же я еще хотел сказать вам, ребятки? Да! Дедушка у меня был... Только лучше я про дедушку моего ни слова вам не скажу, потому что вы таких людей и во сне ни разу не видывали. Век ваш не такой и племя – иное. И про отца тоже ничего не скажу, потому что и меня одного станет про вашу потеху дурацкую. Всего лучше будет, – продолжал Милушкин, сердито наморщивая брови и как бы опамятовавшись, – ежели я про весь дом наш не буду говорить с вами: испугаетесь вы, пожалуй, до того этого дома, что и смеяться надо мной перестанете.

– Не по носу вам этот дом, ребята! – словоохотливо добавлял Сафон Фомич, расцветая насильственной улыбкой свое лицо, всегда помрачаемое воспоминанием о родимом доме, – букет его, братцы, сразу перехватит вам носовые хрящи, даром что вы ребята обстрелянные, ко всяким, следственно, ароматам привыкли.

– У нас, бывало, в дому по целым ночам мать, как Рахиль[15] в Раме, стонала и убивалась, а седой дед, с морщинистым таким лицом, неподвижным и сильным, как гора каменная, тоже по целым ночам за толстую книгой в кожаном переплете сидел и дочь, от слез обезумевшую, ни одним взглядом, бывало, не пробовал утешить. Сидит, говорю, бывало, в переднем углу,

как темная туча, и бубнит свою книжку; а в окна большой избы, освещенной тонким сальным огарком, такой-то крикливый ветер просился, – тоска!..

– Но и матери плакать и деду благочестивым книжным чтением заниматься ничуть не мешали ужасы страшной лесной северной ночи, потому что горе нашего дома было в тысячу раз страшнее этой ночи... Почему страшнее? Потому что про это разговаривать не велено было!.. Ха-ха-ха-ха! – истерически хохотал Сафон Фомич. – «Не пикни! кричали, а то, говорят, других испугаешь...» Ха-ха-ха-ха!

– Только я вам и об этом горе не буду больше толковать; лучше я вам расскажу про отцовы и про дедовы книжки, по которым я читать выучился. Это были толстые, почерневшие книги, которые угрюмо высматривали из темного переднего угла, где они обыкновенно лежали, – словно бы говорили ребятишкам эти книги, что вот-де, мальчуганы, какие мы сердитые! Много об вас хворосту исстегают, много волосенок повыдергают, когда будут вас учить вникать в нас! Только, бывало, картинками, нарисованными в них, и можно было подманить ребяенок к этим книгам. Подойдешь, начнешь перелистывать, а от листов пахнет воском и ладаном, божьим деревцом и кипарисом, и все они переложены узорчатым кружевом, разноцветными лентами и широкими прорезными древесными листьями. Не наглядишься, бывало, на книги, когда, осиливши первый страх, станешь рассматривать их. Особенно, я помню, занимали меня две картинки. Одна из них была в псалтыри и изображала пророка и царя Давида с золотым венцом на голове, поднятой к небу, где видны были зеленые верхи райских деревьев, с стволами густо позолоченными, царь был в светлых, широких одеждах и с гуслиями в руках. До того, бывало, досмотришься, глядя на эту картинку, что наяву шевелились пред тобой листья небесных садов, порхали в них и пели какие-то невиданные птицы, и царские гусли тоже пели вместе с ними до того сладко, что все сердце в тебе изноет, слушая эти песни. Опомнишься, возьмешь другую книгу, с другой, особенно памятной мне, картинкой: там, с молниями в карательно распростертых руках, был изображен господь Саваоф в виде старца, парившего над землей на многокрылых ангелах...

– При взгляде на лицо разгневанного бога, на эти змеистые, слегка подернутые золотом молнии, летающие из его могучей руки, непременно, бывало, перекрестишься и зашепчешь: «Свят, свят, свят!» – потому что кажется тебе, как рассказывал дед про Страшный суд, что вот-вот сейчас колыхнется земля на своих основаниях и запылает всеобщим пожаром и что волны того пожара достигнут до самого неба...

Тут старовер приходил в окончательный экстаз. Его маленькое, опушенное, впрочем, рыжею бородой лицо гневно морщилось и светлело, на лбу жилились совершенно старческие, глубокие морщины, придававшие этому лицу выражение несокрушимой силы, и, злобно стуча кулаком по столу, Милушкин продолжал свой рассказ с таким горячим одушевлением, как бы нашел он сейчас противника, который насмерть оспаривает правду его рассказа:

– Воспитали меня эти книги для славы бога моего, которого я неустанно хочу проповедовать. Что вы думаете, шуты вы, гробы повапленные[16]? Может быть, проповедь моя загремела бы в уши ваши, как гром Саваофа, который в старой книге на картинке душа моя видела и слышала, может, она образумила бы вас, перекрестились бы вы от нее, может быть. Али нет, не перекрестились бы?... То-то, и я сам думаю, вряд ли, потому что душ у вас нет и сердец у вас нет, а есть только одни утробы...

– Ну, будет, ребята! Пошалили – и баста! Ну-ка, кто мне нальет водочки? Ибо руки мои уже не двигаются, – заканчивал Милушкин, грустно поникнув головой на залитый водкою стол.

А между тем все, что называется, храбрые выпивохи уже стеклись к Бжебжицкому на его закуску, которая, с каждой минутой свирепея все больше и больше, превратилась наконец в бурно шумящую оргию. Сначала выпивку разжигали воспоминания старовера, а потом уже настоящий ход и значение придали ей два неразлучные друга: один – отставной учитель

гимназии, кривой и обезображенный оспой, по прозвищу Степан Гроб, главная жизненная сладость которого заключалась в постановке, как он говорил, разных глубоких вопросов; а другой – некто уволенный студент Бенедиктов, прозванный за свою касту Никитою Пустосвятом, а за гигантский рост – Високосным Годом или отставным драбантом[17] его шведского королевского величества. Этот муж считался звездой первой величины на горизонте комнат снебилью за свое необыкновенно оригинальное умение играть на гитаре.

Високосный Год уже разошелся до такой степени, что его варьяции начинали временами обращать на себя внимание самых пьяных; Бжебжицкий под эти звуки сладострастно разлегся на своем диване, задумчиво раскачивая в руке черешневый чубук; Амалии Густавовны и Адельфины Петровны, обманутые некоторыми мотивами, пробовали подпевать под гитару, но драбант не любил, чтобы кто-нибудь, а тем более какая-нибудь Адельфина или Степанида вмешивалась в его фантазии, и потому он время от времени во все свое громовое горло без церемонии кричал: «Цыц, бабы! Не то гитарой головы разобью!»

– Где, где молодое поколение? – кричал Степан Гроб, напирая на некоторого молодца, прозванного одними – мистером Скимполем из «Холодного дома», другими же – Пляшущим Маколеем[18]. – Где оно, это новое поколение? – азартно переспрашивал Гроб, яростно вращая единственным глазом. – Уж не это ли? – доискивался он, тыкая пальцем в одного шестиклассника-гимназиста, тоже жильца комнат. – Это вовсе не молодое поколение, а это просто-напросто молодой пьяница!

– Bravo! – заорал таким образом рекомендованный гимназист, конфузливо приседая от неестественного хохота. – Bravo, Степан! (прибавить слово «Гроб» к имени своего бывшего учителя гимназистик все еще по старой памяти опасался). Я с тобой совершенно одинаких убеждений насчет молодого поколения.

– Поди к свиньям, губошлеп! – оттолкнул единомышленника грубый Гроб. – Коего черта ты смыслишь в этих делах?! Ступай-ка лучше паси овцы отца твоего.

Гимназистик вломился было в амбицию, но староввер не допустил разгореться порывам мальчика.

– Полно тебе связываться с этой заразой, юноша! – сказал Милушкин гимназисту. – Ты разве не видишь, что это пьяный циник? А пьяного циника, милый мой, от свиньи отличить невозможно. Хуже и гаже этого народа ни одной гадости во всей подсолнечной нет, ей-богу. Верь ты моему слову. У тебя отец-то кто был? Помещик? Ты, значит, за текущий месяц за мою квартиру сполна заплати: мне, знаешь, дружочек, взять негде, ей-богу! Стой, я тебя поцелую. Так-то, милый ты мой, береги свою юность, не пей, – скверно. Я лучше тебе про себя расскажу, потому ты сосунок еще, да и все вы, рабочие-то даже какие, как погляжу я на вас, сплошь сосуны. Ни кипучих кровей в ваших сердцах нет, ни размашистой силы в теле. Верно, – целуй! У меня теперь дома братишка такой же молоденький. Эхма!.. Так вот, дружок, и выучил меня отец грамоте, и принялся я те толстые книги читать. Читаешь-читаешь, бывало, и уснешь, а во сне представится тебе как на ладони Киев святой с пещерами, храмами, монастырями и широким Днепром. Ходил я, братец ты мой, в Киев взрослый уже, – недавно ходил; только, божусь тебе, точь-в-точь и во сне такой же Киев видел, какой он в самом деле есть... Не веришь? Так я тебе вот что скажу: я видел во сне Рим, и его форум, и его императоров, мучивших некогда христиан, Голгофу с тремя крестами, и поля, окрестные Иерусалиму, по которым ходил Христос; видел, как процессия попа Никиты на спор по Москве шла[19]; а теперь, когда я уже не отцовы, а другие книги читаю, – другое уже совсем вижу... И вот, милый мой мальчик, скоро, скоро развяжусь я с вами – с Татьянами: брошу скверну мою и пойду и пойду... Да! ты верь мне... Боли мои, как отцы мои делали, растопчу я ногами своими в пути том...

А перед Степаном Гробом вместо сраженного им Пляшущего Маколея стоял уже другой

юноша, высокий и стройный, бледный такой и серьезный. Не горячась и не рисуясь, тихо говорил он своему мрачному оппоненту:

– Опыт, – кто говорит против этого, – очень хорошая вещь, но жаль, что дальше своего носа он ничего не видит...

– Bravo, Ваня! – хохотал Милушкин, вслушавшись в последние слова молодого человека. – Катай их с этой точки зрения. Спроси у них, куда они денут жизнь сердца, куда они денут мои вещие сны? Ха-ха-ха-ха! Куда они денут их?

– Валяй, бабы! Их не переслушаешь! – могуче крикнул отставной драбант его королевского шведского величества. – Теперь ваша очередь...

И он ударил по гитаре что-то такое в одно и то же время и ноющее и веселое, от чего никакая русская бабья душа не может усидеть на месте. Одна из Адельфин сразу угадала, какую именно сельскую песню поет гитара артиста, голодающего несколько лет в городе, с целью подробнее изучить характер своего певучего друга.

Ах, где ты была,

Моя нечужая?

Ай в степи ты брала лен,

Ай ты с кем гуляла? —

вскрикнула Адельфина вместе с звучно трепетавшими струнами, в одно мгновение переставши быть Адельфиной и делаясь, как в старину, послушною дочерью только что отколоченного дяди Петра, чернобровой утехой и работницей родимого дома. Родимая песня распрямила ее стан, сгорбленный разворотом города; от зеленых полей, на которых растет пахучий лен, засветились потухшие глаза и покраснелись прежде времени поблекшие щеки...

– Ох-ма! – гремел Високосный Год, заливая волнами, как стая легких полевых пташек, щебетавших трелей комнату Бжебжицкого.

Ходи, изба, ходи, печь,

Хозяину негде лечь! —

орал он в поощрение девушки, и живо пальцы его уничтожали в гитаре тот разгул, с которым она спрашивала у нечужой, где она была, потому что нечужая на повторенный вопрос:

Ох! Где же ты была,

Завалилася? —

отвечала:

На дырявом я мосту

Провалилася!

И как-то скорбно и вместе с тем порывисто после этого заплакали струны, словно бы больная истерикой женщина, а Адельфина так-то плясала под этот плач, так-то она отчаянно отбивала дробь двухвершковым каблуком своего городского башмака, что все жильцы темного коридора, всё эти Татьяны и Лукерьи наперерыв лезли к дверям и оттуда смотрели на нее, подставив почему-то под бороды свои руки, что обыкновенно делают Татьяны и Лукерьи тогда, как их обуревают какое-нибудь сильное горе...

– Действуй! – закричал вдруг Сафон Фомич, бросившись в пляс с быстротой совершенно трезвого человека.

И пошло!..

Я лично, тоже жилец самой крайней комнаты сне-билью, обращенной одним окном на двор, а другим упиравшейся в какую-то высокую кирпичную стену, пришел в это время к Бжебжицкому, лишь только слышал топот знакомого трепака.

– Знаток я, брат, своего дела! – обратился ко мне Сафон, выделявая невероятную присядку.
– Что давно не пришел? Я, любезный, такую тут без тебя фигуру отмочил, совсем новую! Жаль, что ты не видал. Ну благо теперь пришел. Выпьем с тобой – и качнем старинную. Готовься, ребята!

Все откашлялись, а я зажмурил свои глаза, потому что не мог петь старинной не зажмурившись...

Выпил Сафон Фомич, крякнул и, пхнувши маленький кусочек хлебца, съел его, а потом уже начал:

О-о-ох! ты взойдя, ты взойди, солнце ясное!

О-о-ох! над горою да над высокою,

Над дубравой да над темною!

Обогрей нас, добрых молодцев,

Добрых молодцев, сирот бедных,

Сирот бедных, беспаспортных!

Я пронзающею фистулой, могущей делать неописанные вариации, и громовый бас Високосного Года вместе с его десятиструнной гитарой, дружно принявшие от запевалы вторую строчку песни, сделали то, что с первого же нашего оха все, что в поте лиц трудилось в печальных подвалах дома комнат снебилью, – все это разлилось перед нашими окнами и слушало старинную песню, от которой тяжкий стон шел по целому дому.

– Важно поют! – толковала публика.

– Играют бесподобно! И все это «скуденты» отличаются.

– Скудентам одним так не сыграть: беспрерывно есть и господа.

О-о-ох! Сиро-от бедных, беспаспортных – тянули колокольчиками дишканты Адельфин, Татьян и Лукерий, по временам заливаемые волнистой октавой драбанта и, так сказать, горящим тенором Сафона Фомича, который, впрочем, по правде-то ежели сказать, никогда не выстаивал в самых верхних нотах против моей фистулы.

– Вон она, сиротская-то наша матушка раскатывается! – восхищался народ, все больше и больше наводнявший наш двор. – Вишь, господа-то ее как вздымают: поди, чай, под самым небушком слышно.

– Тебе же говорят, что это не господа! – поучительно заметил восторгавшемуся парню какой-то, по всем приметам, мастер. – Не господа, а так, скуденты, простые – народ больше, не хуже нашего брата, бедняк.

– Пшоль, негодный человек, негодная твоя тварь! – загонял своих рабочих в покинутые ими мастерские немец-красильщик. – Какой теперь шас? – гневно шумел он. – Где ты должен быть? В мастерской, а он тут на всякое глупство уши раздвинул. Никогда этого не поймет шортова голова, что в мастерской надобно быть в один шас, а в другой глупством заниматься... Пшоль! Пшоль!

Веселая нас, господа, компания собралась в комнатах снебилью! До того веселая и хорошая, что шестиклассник-гимназист всю следующую за выпивкой неделю старался, по примеру Степана Гроба, становить разные глубокие вопросы и так же, как он, кавалерски, или, как говорили в комнатах, с кривого глаза, решать их; надувался он, бедный, изо всех сил быть таким же народным, как Сафон Фомич; у Високосного Года учился на гитаре, а ко мне (о горе мне, развратившему своим примером единого от малых сил!) – ко мне, говорю, всю неделю приставал поисправить немножечко какой-то рассказ и похлопотать в какой-нибудь знакомой редакции о скорейшей выдаче ему за этот рассказ гонорария, который, я уверен, этот парень, в качестве сына своего века, употребил бы на выпивку, шикарнейшую выпивки прапорщика Бжебжицкого...

1863

Примечания

1

Печатается по сборнику «Жизнь московских закоулков», изд. 3-е. 1875, с. 12—109. Впервые опубликовано в журнале «Библиотека для чтения», 1863, NoNo 7, 8, 9. Очерк перепечатывался также в первом и втором изданиях сборника «Московские норы и трущобы». СПб., 1866 и СПб., 1869.

2

Фалбары – фольбалы – оборки.

3

Депозита – здесь: денежная ассигнация.

4

...покуривая жуков – табак фирмы Жукова.

5

Прокурат – плут.

6

Пивная (от нем. Bierhall).

7

Сармат – здесь: поляк. Этим именем в разное время в литературе назывались разные народы. (В конце II века до н. э. одно из сарматских племен занимало территорию между Доном и Днепром.)

8

Аристократ (от англ. fashionable).

9

Невинность

(франц.).

10

В долг

(франц.).

11

...при самом Денисе. – Имеется в виду Д. В. Давыдов (1784—1839) – поэт, герой Отечественной войны 1812 г.

12

...простой кокоревщины – то есть водки (от имени винного откупщика В. А. Кокорева).

13

...устроиться в акциз – в акцизное управление, ведающее акцизными (налоговыми) сборами.

14

Амфитрион – здесь: гостеприимный, щедрый хозяин.

15

Рахиль – в Библии – мать, оплакивающая своих детей.

16

...гробы повапленные (библ.) – то есть раскрашенные снаружи.

17

Драбант – телохранитель.

18

...прозванного одними –

мистером Скимполем из «Холодного дома», другими –

Пляшущим Маколеем. – Мистер Скимпль – персонаж из романа Диккенса «Холодный дом», тип обаятельного денди, живущего на чужой счет. Имя английского историка и политического деятеля Маколея (1800—1859) в 60-х годах XIX века стало широко известно в России, так как его «История Англии» в 1860—1865 годах была издана в русском переводе.

19

...как процессия попа Никиты на спор по Москве шла. – В 1660 году видный деятель раскола Никита Пустосвят добился церковного диспута в Грановитой палате Московского Кремля со сторонниками официальной веры никонианами. После окончания диспута Никита Пустосвят был казнен по приказанию царевны Софьи.